ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Друг на друга глядучи,
улыбнёшься.
Русская пословица

Глава первая
ЛЮБИМ И... РУБИМ

1

Митя приезжал в Сузём, почитай, каждый месяц. По вечерам в ту пору самый большой барак в поселке бывал набит до отказу. В духоте и тесноте люди смотрели картину, а после сидели до ночных петухов, беседуя с киномехаником. Иной раз десятнику приходилось разгонять полуночников. Митя виновато оправдывался.

– Да что сделать, Иван Иванович, раз люди хотят но душам поговорить?

– А ты говори засветло, нечего до утра лясы точить. Завтра я за них в делянку-то пойду, что ли? – ворчал десятник.

Те, кто из других бараков, нехотя расходились, тамошние укладывались на свои топчаны; а Митя в уголке со свечкой долго ещё сидел, мусоля карандаш. Он был не только киномехаником, но и нештатным инструктором райкома комсомола и юнкором юношеской газеты. Где бы он ни побывал со своей передвижкой, отовсюду посылал в газету заметки, подписываясь по тогдашнему обычаю под ними то Ухо, то Шило, то Свой Брат, а однажды подписался даже так: Я Тут Был. И все знали, что это Митина рука. И Мите за это был почет от сверстников, а кое-кто поглядывал на него и косо. Куда бы Митя ни приезжал, вокруг него собирались ребята, и обязательно возникала какая-нибудь затея – диспут ли, концерт ли, лекция ли с химическими и физическими опытами, почерпнутыми из книжек Перельмана. Какие только кружки не возникали в тех местах, где появлялся киномеханик – и «Доброхим», и «Долой неграмотность», и «Любители книги», и «Безбожник», и даже «Друзья пернатых». Пожилые посмеивались над Митиными затеями, но охотно шли к нему написать

письмо сыну в армию, составить прошение, чтобы скостили налог, выяснить, «отчего это бывает, что под ложечкой сосет и сосет, ажио лихо. И пойти ли к фершалу либо так пройдет». Митя никому не отказывал и временами становился то адвокатом, то лекарским помощникам, то писарем. А было у него ещё занятие, о котором никто не знал: тетрадка в клеенчатых корочках по ночам заполнялась стихами. Однажды мать, Анна Прохоровна, озабоченная ночными бдениями сына, подсмотрела, чем он занимается. Днем, когда Митя ушел из дому, достала из укромного местечка тетрадку и долго шёпотом слагала буквы в слова.

– У люди еры буки како он иже кратко – улыбкой, слово веди есть твердо люди еры иже кратко – светлый...

Сын писал небрежно, скорописью, матери приходилось долго догадываться, какую букву означает иная каракуля. Но она читала и читала, несмотря ни на что.

Улыбкой светлый день расцвел,
Как КИМ на левом отвороте – солнце
О мой любимый Комсомол,
Привет тебе от комсомольца...

– Складно...

Анна Прохоровна вздохнула, бережно разгладила ладонью помятый листок и положила тетрадь на старое место. И после этого в разговорах с женщинами, когда приходилось говорить о сыне, она с достоинством сообщала:

– Мой-то парень, Митенька-то, выучился добро, живые картины кажет, механиком, слышь, зовут. Да еще комсомольский инструктор – это будто у них за главного, у комсомольцев. Какие-то, слыхала, директивы им выдает, бумаги, что ли, с печатями, важные, ответственные... Сама-то я не шибко разбираюсь. Ну и ещё в сочинителях состоит...

– В сочинителях? – переспрашивают собеседницы.

– А как же, – с гордостью подтверждает мать. – Сама читала. Про солнце и про значок, красненький такой, с тонкими буквами. Складно-складно...

Она поделилась этим своим открытием и с отцом. Тот поперебирал пальцами бороду, подумал и ответил:

– Ничего, не тревожься, пройдёт...

В Сузём Митя любил приезжать: там народу много, дела край непочатый. И в Сузёме Митю ждали, встречали, как своего.

2

Еще не успел он распрячь лошадь и вынести аппаратуру, его окружили приятели-комсомольцы. И ни лошади, ни аппаратуры он больше не видел, ребята управились с ними в один миг. Митя подозвал Пашу Пластинина.

– Пока аппарат согревается, пойдем-ка, Паша, посмотрим просеку.

Паша знал: раз Митя зовет на просеку – значит, у него есть что-то новое, хочет поговорить наедине. Прямая, как стрела, просека убегала в глубь могучего леса. Деревья стояли тихие-тихие. Сквозь их прозрачные верхушки мерцали звезды. А прямые ровные стволы, будто стена частокола, тянулись по сторонам. Казалось, идешь по дну глубокого жёлоба, и чуть кособокая луна смешливо заглядывает через его край.

Друзья шли рядом, касаясь локтями. Под ногами похрустывал снег. Воздух, густо пропитанный запахом хвои, наполнял легкие.

– Лес-то! – тихо сказал Митя. – Лучше, кажется, ничего не найдешь.

– Так природа же, – объяснил Паша. – Её все любят...

– Любим вот... и рубим. У тебя душа не болит, Паша?

– Ты чего? – от удивления Паша даже остановился. – Как же не рубить?

– Ну, не пугайся, это я так. Конечно, надо рубить... раз спущен план. Против плана, брат, не попрёшь.

Паша успокоился, подтвердил.

– Не было бы плана, не рубили бы... Именно...

Митя неожиданно схватил его за рукав и горячо заговорил:

– Душа болит, когда видишь гибнущую красоту. Вот они стоят, мощь-то какая, величие... А приходит дядюшка Егор с топором и пилой, и к вечеру на этом месте только пни да раскиданные сучья, да мятый снег, усеянный щепами. Помнишь, мы березки защищали. День леса неудачно справили. А ведь те березки – капля в море по сравнению с тем, что рубят теперь...

Паша слушал, не прерывая. Шел, стараясь попадать в ногу с Митей. И вдруг расхохотался.

– На тебя, Митька, чего нашло? Жалко – лес рубят? Так рубят-то не для баловства, на пользу же....

Митя некоторое время молчал. Скрип снега под ногами разносился по просеке, повторялся в чащобе. Будто завершая свою думу, Митя повторил Пашины слова:

– Да, на пользу, конечно...

Становясь, Митя прислушался.

– Кого это и темень не берет?

– Дядюшку твоего, Егора. Кого больше? В щепки твою красоту переводит, – съязвил Паша.

– Потом да временем берёт мужик. Уламывает силушку... А вот был я в Кудимском леспромхозе. Там валку леса ведут по-новому. Неплохо получается. У Чуренкова переняли. Есть такой лесоруб в Ханюге. Слыхал? Он толково придумал. Не вдвоем они валят лес, как ныне у нас, а бригадой. А в бригаде каждый свое дело знает. И что ты скажешь! Выходит, говорят, чуть не по десять кубарей на душу. В Кудиме тоже крепко двинулись вперед, когда применили чуренковский способ. Может, и вам бы, Паша, попробовать?

Он посмотрел на своего спутника, но лица не увидел. Показалось ему, что Паша усмехается.

– Ты чего хихикаешь? Не веришь?

– Не хихикаю я, с чего ты взял. Мне просто занятно, какие у тебя ковылянья происходят...

– У меня? Ковылянья? О чём это ты?

– А как же, то жалеешь, что лес рубят, то придумываешь, как бы побольше его нарубить...

Митя взял товарища за плечи, затормошил его. С веселой торжественностью изрек:

– Тут, Паша, нет противоречия. Тут, понимаешь ты, диалектика!

И уже серьезно продолжал.

– А насчет чуренковского метода попробуем? А?

– Надо с ребятами поговорить. Попробовать-то недолго...

3

Никому не рассказывала Макора, сколь тяжело ей было, когда женился Егор. Она не додавала виду, а у самой все валилось из рук, и жизнь казалась не мила. Горше всего было от-

того, что сама оттолкнула, сама отдала его другой. Ой, воротись былое назад, не так бы, кажется, поступила. Хорошая у него душа, чистая и простая. А что за старину цепляется Егор, так в этом виновата и сама она, Макора. Поговорить бы с человеком откровенно, без утайки, от всей души, показать ему, в чём он неправ, – так нет, подняла нос и отвернулась. Сердце не позволило! Теперь и страдай. И ему тоже не сладко. Это она видит. И думает, думает, как поступить. Не пойти ли к нему прямо и сказать: «Егорушка, родной, ошиблись мы. Оба сделали не так, как велело сердце. Исправим ошибку, пока не поздно...»

В дверь постучали. Макора вздрогнула.

– Да, – сказала она негромко и, увидя вошедшего, воскликнула:

– Ой, Митенька! Как хорошо, что ты приехал...

В маленькую Макорину комнатушку Митя принес волну холодного воздуха со свежим запахом хвои. По виду девушки он понял её настроение. Не раздеваясь, присел рядом, взял ее руку.

– Ты всё убиваешься? Не пора ли забыть, выкинуть из головы и сердца?

Она всхлипнула, разрыдалась и ткнулась лицом в его грудь.

– Митенька, тяжело мне... Ты не знаешь, как тяжело и как я виню себя. Митя, ты не смейся надо мной, если я тебе скажу...

Она подняла голову, мокрыми глазами смотрела на него.

– Митя, я хочу исправить ошибку, – прошептала, сжав руку. – Я вырву его от неё и от всех их...

– Да... Нелегко это будет, Макора, – осторожно сказал Митя, встал и зашагал по комнате.

Половицы поскрипывали – Митя потяжелел за последнее время, стал похожим на своего дядю. Макора следила за ним, притихшая, настороженная. Когда он остановился, она выжидательно встала. Митя протянул ей руку.

– Если потребуется поддержка, можешь всегда надеяться...

Она постепенно успокоилась, захлопотала вокруг стола.

– Да ты раздевайся, Митенька. Видишь, сколь внимательная хозяйка, даже забыла предложить гостю раздеться...

– Гостю... Скажешь тоже...

– Гость не гость, а самый родной человек, – выпалила Макора с таким жаром, что Митя смущенно заморгал. Разделся, сел к столу, с удовольствием потянул крепкий чай из кружки.

– Стаканов-то у меня нет, – извинилась Макора, подвигая ему эту вместительную посудину.

– Ты что оправдываешься, – улыбнулся Митя. – В нашем лесном краю не так просто достать стакан.

Попивая чаек, он рассказал Макоре, о чем беседовал сегодня с Пашей Пластининым.

– Надо ребят подживить. Думаю с неделю тут пробыть, попробуем, как и что. Ты уж не спускай с них потом глаз. Мало ли какие заминки, чтоб не расхолодились... Пойдёт?

– У меня теперь, Митенька, всё пойдет. Сердце окрылилось.

Он шутливо погрозил пальцем.

– Ну-ну, ты не очень зазнавайся. Всё впереди.

– Да, – вздохнула Макора, а глаза у неё горели. – Было бы что кпереди... Хоть уголек тлеет, а всё же светится...

В эту ночь Макора уснула крепко, как давным-давно не спала. Утром чуть свет побежала в делянку. Там ещё было тихо. Лишь в дальнем углу квартала одиноко шуршала пила. Сердце у Макоры екнуло – ведь это Егор. Может, сейчас и пришел тот решительный миг, кото-

рый повернет всё?

4

Егор привычным жестом смахнул со лба капли пота, распрямил плечи, посмотрел на бледный серпик месяца, зацепившийся, за верхушку сосны. Недавно народился, погода, значит, постоит хорошая. Он усмехнулся, вспомнив, как Митя учил его различать (безошибочно молодой или ущербный месяц. Приставь к его концам палец, и если получится буква Р, значит, молодой, родился недавно, растет. А ежели получится буква У, значит, ущербный, убывает. Придумают же люди! И забавно и толково.

За спиной послышался шум шагов. Кто бы в такую рань? Егор обернулся. По немятому снегу шагала женщина. В потемках Егор лица различить не мог.

– Доброе утро, Егор Павлович, – услышал он голос Макоры.

Её-то уж никак не ожидал встретить здесь спозаранок. «Да ведь она нынче профсоюзной начальницей стала, соревнованьем заведует, – вспомнил он. – Меня, наверно, втягивать пришла в соревновательство».

– Здравствуешь, Макора Тихоновна. Рано ты встаешь. Да и в лес одна прикатила. Не боишься?

– Кто треску боится, тот в лес не пойдёт, – ответила она тем наигранным тоном, каким нередко скрывают свое волнение. – Волки от нашего шуму-гаму давно убежали, а медведя... Вот одного встретила, да он, наверно, не кусается... ручной стал...

– Язычок же у тебя, Макора. Топор бы мне такой, десять кубов нарубил бы в день, ей-богу...

«Ну вот, никакого серьезного разговора и не выйдет, побалагурим так и конец», – с горечью подумала Макора. Она переменила тон.

– Я к вам по делу, Егор Павлович, – произнесла она, покусывая губы.

– По делу, так слушаю. Что скажете?

– Мы бригаду молодёжную создали. Она по методу Чуренкова решила работать... Так вот... так вот...

А что «так вот», Макора наскоро придумать не могла. Егор добродушно улыбался, глядя, как она теребит зеленую рукавичку.

– Вроде и меня в эту бригаду захотели втянуть?

– Вот правда! – обрадовалась Макора неожиданной подсказке. – Мы думаем, что вы нам поможете... Мы вас бригадиром поставим...

– Благодарствую за честь!

Он даже поклонился.

– Только я уж не молодежь... Играть мне не пристало...

– Какая же это игра! – обидчиво воскликнула Макора. – Дело серьёзное...

Она стала объяснять суть метода организации труда, применяемого Чуренковым. Говорила горячо, но сбивчиво, потому что и сама ещё не очень понимала, что и как. Егор слушал, опершись локтем о ствол сосны, чуть сдвинув на лоб шапку.

– М-да, дело важное, – сказал он с легкой насмешкой. Макора этой насмешки не уловила и с увлечением повторяла:

– Очень, очень важное, Егор...

А он наклонился, вынул топор из бревна, привычно глянул на острие, тронув его легонько пальцем и с размаху всадил топор в ствол дерева.

– Мне нечего встреваться в эту затею, Макора Тихоновна, – сказал он, обернувшись. – Я

уж один, в усторонье...

Макоре хотелось сказать Егору, что он неправ, что добиться настоящего успеха можно только коллективно, а не в одиночку. Но он уже не слушал, захваченный работой. Она шагнула в сторону, оберегаясь от щеп, брызгавших из-под топора, постояла, невольно любуясь ловкостью и силой ударов. А сама думала: «Ты всё такой же отсталый, Егор... Неужели таким и останешься?»

Обратным путем в поселок Макора шла по делянкам, мимо работающих лесорубов. Они её окликали, здоровались, заговаривали. Она отвечала рассеянно, погруженная в свою думу. Неужели он такой заскорузлый собственник и единоличник? Егор, Егор! Как бы тебе открыть глаза? А кто будет открывать? Ты, Макора? Тоже мне открывательница... Она стала уничижать себя за свою нерешительность, безрукость и отсталость... Да, да, отсталость. Потому что глупа... глупа... глупа...

Макора села на пенёк и заплакала...

– Эгей! Член рабочкома в горьких слезах...

Из-за ёлки показался Синяков.

Глава вторая

„КАКАЯ ОНА ТАКАЯ - КОММУНИЗМА?"

1

Собрание было назначено в том же бараке, где когда-то судили Бережного. Он вспомнил об этом, пробираясь между скамей, заполненных лесорубами. Места были в первых рядах, но Егор не захотел туда. На виду у всех сидеть? Оборони бог... Вот Ваське Белому там в самую пору, пущай покрасуется, он это любит. Забравшись в угол за печку, Егор с усмешкой наблюдал, как Васька Белый, действуя острыми локтями, назойливо стремился пробиться вперёд среди стоящих в проходе. И ведь пробился! Сел на первую скамью, снял шапку, расправил усёнки и принял горделивую позу, изображая на лице важность и солидность.

Ещё до начала собрания в бараке сделалось так душно и дымно, что становилось трудно дышать.

– Граждане, куренье прекратите! – громко крикнул Иван Иванович из переднего угла. – Ишь, густота какая...

Он помахал рукой в воздухе. Навстречу ему протянулась другая рука, с шапкой. Опустила шапку, та упала на колени соседу.

– Не столь ещё густо, – сказал шутник. – Шапка не держится...

– Можно курить, раз шапка не держится, – засмеялись кругом. Многие вынули из рукавов спрятанные было цигарки. Иван Иванович махнул рукой и сел на место.

– Им, табакососам, в привычку, – сказала женщина у стены.

– Вытолкать надо всех курителей, – поддержала её другая.

– Бойка! Хочет одна остаться, одна за нас все дела решить...

Смех.

– Сегодня вроде ещё не восьмое марта...

Смех.

И внушительный, строгий возглас:

– Хватит балясничать! Дышать нечем. Хоть бы двери открыли...

Распахнули дверь в сени. Стало свежее. По ногам пошла волна холода. Некоторые закашляли.

– Простудить, что ли, хотят? Закройте...

Дверь прикрыли, но оставили щель. Чистый воздух хоть понемногу, но поступал в переполненный барак.

Зазвонил колокольчик. У стола появились Синяков и директор леспромхоза Сёмушин. Иван Иванович, жмурясь от непривычного света лампы-молнии, объявил собрание открытым. Помолчал, достал из кармана карандаш, повертел его, засунул за ухо, покосился на директора.

– У кого предложенье будет президиум избрать?

Никто не подымал руки, не подавал голоса. Иван Иванович, загораживая бьющий в лицо свет от лампы широкой ладонью, обвел всех глазами. Все молчали. Он оглянулся назад и, увидев в углу Пашу Пластинина, закричал:

– Ты что, Пашка, забыл, что ли? Ведь у тебя предложенье о президиуме-то...

Паша схватился за голову – вот подкузьмил! Он с трудом пробрался через сидящих на полу к столу.

– Предлагаю, товарищи, избрать президиум из десяти человек.

Иван Иванович спросил:

– Хватит?

Ему ответили от дверей:

– Шибко много. Чего они робить будут?

– Дело найдется, – отрезал Иван Иванович. – Давай, Паша, говори кого.

Егор, услышав свою фамилию, не поверил ушам. Он в темноте за печкой густо покраснел. «Чего они выдумали? Срамить меня, что ли?»

Когда список был зачитан до конца, Иван Иванович спросил:

– Голосовать?

– Голосуй, – ответили ему, – подходящие...

Кто-то от двери добавил:

– Васьки Белого нет, не полон список...

Лесорубы засмеялись и захлопали. Васька Белый хлопал усерднее всех.

– Выбранные, займите места, – сказал Иван Иванович и облегченно вздохнул: он передал председательствование Синякову.

Избранные в президиум, смущенно оглядываясь, будто не веря, что в самом деле их избрали, стали один по одному подниматься с мест и пробираться к столу. Егор несколько раз вставал и опять садился, не в состоянии перебороть неловкость. Он не понимал, за какую-такую заслугу выпала ему эта честь, небывалая и нежданная. Синяков, улыбаясь в усы, глядел на него. Он понял Егорове состояние. Решил помочь.

– Бережной, ты задерживаешь собрание, – сказал он, стараясь придать голосу строгость.

Егор, готовый провалиться сквозь землю, пошел к столу. Табуретки не хватило. Он растерянно поискал её глазами, не нашел и сел прямо на пол. Хорошо, что никто этого не заметил.

Собрание шло своим чередом. С докладом выступал директор леспромхоза Семушин. Егор стал слушать и незаметно-незаметно задремал. Очнулся будто от укола. Директор назвал его имя.

– На вашем лесопункте у него самая высокая выработка, – говорил директор. – Да и не только на вашем. Во всём леспромхозе некому с ним потягаться. Не день, не два, а с самого начала сезона он ломит, как медведь... Ты прости меня, товарищ Бережной, за грубоватое сравнение. – Директор полуобернулся в сторону, где сидел Егор. – Как настоящий медведь.

Столько наломал, другому бы на три сезона хватило. Поэтому дирекция считает необходимым отметить ударный труд товарища Бережного, выдав ему в награду денежную премию.

Семушин опять обернулся к столу президиума, но не найдя за ним Егора, остановился с разведенными руками, недоуменно пожимая плечами.

– Да вот он! Вон сидит на полу, – крикнул Васька Белый. – Ты чего не откликаешься, Егорко? Встань-ко да благодари директора. Мы с тобой, парень, вместе робили...

Взрыв смеха потряс барак. Совершенно потерянный, Егор встал, неуклюже, почему-то боком, приблизился к директору, словно во сне принял протянутый конверт и, в растерянности не пожав директорской руки, заспешил на свое место.

– Ошалел от почестей, – расслышал он сквозь шум возглас от двери.

2

В пилоставне жарко. Печурка, устроенная из железной бочки, пышет раскаленными до бордового цвета боками. Лесорубы в одних рубахах, босые сидят на скамьях, расставленных вдоль стен. Они млеют от жары, наслаждаясь ею, и всё подбрасывают, всё подбрасывают в печку дров. Егор Бережной снял и рубаху, склонился над пилой, похожий на статую. Мягкий шум напилков в руках точильщиков сливается с яростным гудением печки. У самой двери на груде поленьев пристроился Васька Белый. Он точит пилу сосредоточенно, с великим усердием. Его редкая бороденка мокра от поту. Время от времени он вытирает лоснящийся лоб подолом рубахи. Васька первый не выдерживает, бросает пилу, захлопывает дверку печки.

– Хватит! Зажарили совсем. В аду у чертей и то прохладнее...

– А тебе там случалось бывать?

– Ну-ко, не случалось! И на сковороде сиживал, не то что...

– Добро?

– Еще как! Час посидишь – три часа от тебя пар идёт.

– Бывалый же ты, Васька, мужик, – говорит Егор, отложив выточенную пилу. – Дай-ко мне твою заслуженную, подправлю малость.

Васька с готовностью подает свою пилу. Егор осматривает её зубья, заточенные так и сяк, проверяет развод, крутит головой.

– Здорово ты её развел и выточил! Мастак.

– Да ведь кто точил-то, Васька Белый! Ещё бы...

Бережной правит развод Васькиной пилы и нахваливает, нахваливает Васькино мастерство. В пилоставню заходят ещё лесорубы, ухают, охваченные теплом, раздеваются.

– А ты что именинником сидишь? – спрашивают они Ваську.

– Да у него полный коммунизм наступил: сиди да считай тараканов.

– Коммунизм-то у него кособокий получается, по правилу, они будут робить, а я буду есть.

– И верно, ребята, добро при коммунизме, ничего не делай, хошь – на печи валяйся, хошь – иди в казёнку. Пей, сколько твоей душеньке угодно. В лавку пришел – бери, чего надо: масла так масла, керосину так и керосину. Пиджак захотел новый справить – нет отказу. Сапоги поистрепались – бери новые..

Егор слушал-слушал эту болтовню и думал: «Эк ведь чешут языки. Может ли такое быть – все разбогатеют, никто ничего делать не захочет. А где богатство возьмется? Манна господня только в Платонидиной сказке бывает».

Егор передал Ваське выточенную пилу, натянул рубаху, пригладил пятерней волосы.

– Никто не знает, какая она такая коммунизма, – сказал он – Может, вовсе и никакой не

появится...

– Раз знающие люди говорят, нам сумлеваться не приходится.

– Ты знающий, так поясни.

– Что я? Я беспартийный... Пущай партийные поясняют...

– Вон Пластинина спросим, он – комсомол, должен знать.

Паша только что зашел в пилоставню, он не слышал разговора. Жмурился от света, снимая ватник.

– Что в бане у вас, хоть пару поддавай...

– Поддай-ка, поддай пару вон Егору Бережному. Он в коммунизму не верит, говорит, неизвестно, какая она получится. Как там в книжках-то ваших, партейных, сказано?

Паша смущен и общим вниманием, и трудностью вопроса. Он берет с полочки напильник, ищет себе место на скамье. Лесорубы теснятся, освобождая ему конец скамьи.

– Коммунизм известно какой будет, – Паша старается говорить авторитетно. – Без буржуев и кулаков, одни трудящиеся. Всё общее, и нет эксплуатации. Вот и коммунизм...

– Так, лонятно. А лес рубить, к примеру, кому придется?

– Доживешь – будешь и ты лес рубить...

– Эко! – разочарованно всплеснул руками Васька Белый. – А сказывали, робить никого не заставят, один отдых, сиди да ешь...

– Не удастся, выходит, тебе полегостайничать, Вася, – захохотали лесорубы.

– А насчет чекушки? Будут подносить чекушку бесплатно или нет? Объясни...

– Глупости нечего объяснять, – рассердился Паша. – Кто о чекушке думает, тому не до коммунизма. Какой коммунизм будет, мне трудно объяснить, я там не был. У меня есть книжка, в ней про это сказано. Ежели хотите слушать, принесу прочитаю.

– Послушали бы, оно занятно.

Паша сунул пилу под скамью и, не одеваясь, побежал в свой барак. Вернулся запыхавшийся, с книжкой в руках. Сел на чурбак и стал читать. Перестали шуметь напилки. Лесорубы закурили. Свет лампы поубавился в густом облаке сизого табачного дыма. Слушали, не прерывая, шикали на тех, кто пытался разговаривать. Брошюрка была простенькая, короткая. Паша прочитал её быстро. В ней о коммунизме говорилось в общих словах и возвышенных тонах. «Коммунизм – это такое общество, где не будет эксплуатации человека человеком, исчезнет разделение людей на имущих и неимущих, бедных и богатых. Полное правовое и экономическое равенство, полная свобода личности, полный расцвет дарований. Коммунизм – это светлое будущее человечества, и мы его завоюем».

Паша сложил брошюру, сунул её за пазуху. Все некоторое время молчали. Один за другим стали одеваться, направляясь к выходу.

– Слушать-то занятно, да и спать пора...

– Не выспишься – завтра придется в пень носом клевать...

– Пока коммунизма нет, работать приходится...

Бережной подошел к Паше, помялся...

– Ты, Паша, всурьёз этому веришь? – негромко спросил он.

– Как же не верю! – воскликнул Паша. – А ты, что ли, сомневаешься!

– Пошто сумлеваюсь, не сумлеваюсь. Только откуда же всё это возьмется? Ежели всех богатых порушим, откуда деньги-то получатся?

Паша развел руками.

– Чудной ты, Егор Павлович! Неужели богатеи пашут, жнут и хлебы пекут? Простой вещи не понимаешь: труд – всему голова. Понятно?

– Это вроде понятно, – чешет Егор затылок, – да без капиталу-то как? Без денег ведь и соли не купишь...

– Соль будут бесплатно давать, – выпалил вгорячах Паша.

– Всё может быть...

Егор забрал свои точильные приборы, направился домой.

Пилоставня опустела. Паша один склонился над пилой. Он волновался, расстраивался, думал, что не так разъяснял, не те слова говорил. Не понимают. Почему они не понимают? Счастье для всех – вот что такое коммунизм. Неужели это не ясно? А вот какой он будет... Какой же в самом деле? Хоть одним бы глазком взглянуть! Неужели не дожить? Не может того быть. Доживу!

– Ты чего, полуночник, лампу-то жжешь? Так на тебя и керосину не напасёшься. Ну-кося! Сидит один, да ещё и бормочет чего-то. Где был, раньше не выточил? Прогулял, что ли?

Иван Иванович выпроводил Пашу из пилоставни, повесил на дверь замок.

Глава третья
ПУТЕШЕСТВИЕ В ХАНЮГУ

1

Паша Пластинин осмотрел свою бригаду и понял, что она жидковата. Гриша Фереферов сидит на ворохе сучьев, щечки, что яблоки, губы пухлые, как у девчонки. Шапка сползла на лоб, один наушник торчит вверх и в сторону, другой опустился вниз. Руками Гриша охватил колени, закрыл глаза – дремлет. Миша Савельев у костра сосредоточенно подсчитывает что-то на клочке бумаги, мусоля карандаш. Этот широк в плечах, корпусен – настоящий мужчина. Только приподнятый нос, обсыпанный веснушками, словно льняными семечками, придает его лицу детское выражение. Костя Челпанов с Ваней Мезенковым – те совсем мальчишки, барахтаются в сугробе, кидаются снежками. И усталость их не берёт, огольцов. Сенька Некрасов ничего бы парень, толковый, прилежный и крепок на выдюжку, только ноги почему-то зябнут у бедняги. Вот и сейчас стащил валенки, мотает-перематывает онучи, суёт ноги чуть не в пламя костра. «Молодняк!» –снисходительно подумал Паша о своей армии, забывая, что и он, ее командарм, далеко от остальных не ушел.

Настроение у ребят, как говорит Паша, неважнецкое. Первого пылу хватило ненадолго. Вначале казалось, что таким молодцам всё нипочем, стоит только захотеть – и «кубари» так и посыплются, будто шишки с елок. А они, проклятые «кубари», сыпаться не хотели, требовали поту и поту. Да что пот! Его ребята не жалели и жалеть бы не стали, будь толк. Толку-то не получалось, вот беда. И знай Чуренков, какие в его адрес отпускали «похвалы», ночи бы не спал. И так, наверно, икалось мужику много раз. Возятся – язык за поясом, а подсчитают вечером – плюнут. Выходит меньше того, что заготовляли в одиночку. Митя лишнюю неделю прожил в Сузёме, сам перепробовал и валку, и раскряжевку, и обрубку сучьев – дело всё равно не клеилось. А понять, где зарыта собака, не мог. Так и уехал в расстроенных чувствах. Почти каждый день бригаду навещала Макора, старалась подбодрить ребят, утешала тем, что, мол, вначале всякое дело не ладится. Да утешение-то было липовое. Долго она крепилась, не выдержала, пошла к Бережному.

– Помоги ты, Егор Павлович! Хоть посмотри, может, совет дашь...

Он пришел в лесосеку бригады. Огляделся кругом, похмыкал, взял пилу, принялся валить деревья. Да так до вечера и проработал с ребятами. В этот день «кубарей» оказалось

намного больше, нежели в другие дни. Егор был доволен – он показал молодяжкам, как надо трудиться у пня. Ребята его благодарили, но полного удовлетворения в душе у них не было. На следующий день выработка уменьшилась. Ещё бы! Одно с Егором Бережным, другое без него. Этакой богатырь руками может наломать. Не у каждого такая силища...

Гриша Фереферов кинул топор в снег, сел на пень:

– К лешему! Больше не буду я с вами играть, хватит.

Паша Пластинин вскипел.

– Ты что? Бригаду развалить хочешь?

Гриша капризно надул пухлые губы.

– А на кой ляд такая бригада, ежели без неё больше дам...

– А обязательство? А авторитет? Тебе это нипочем?

– Авторитет! – Гриша выговорил это слово с насмешкой. – Всей оравой заготовляем столько, что одна худая баба переплюнет. Вот твой и авторитет.

Паше нечем было крыть. Он засунул топор за ремень и повернулся к Грише спиной. Ребята молчали. Неохотно собрали инструмент, поплелись домой. Всю дорогу не вязался разговор. Только у спуска в лог Костя, увидев заячьи следы, сказал:

– Завтра пойду поброжу за косым...

Ваня Мезенков поддакнул.

– Силков бы понаставить. Их много тут, лопоухих. И шуму-треску дьяволы не боятся...

Паша обернулся, ничего не сказал, поправил шапку.

Назавтра с утра ребята были все в своей делянке. Паша как ни в чем не бывало командовал, откуда начинать валку деревьев, куда валить вершинами. Застучали топоры, зашуршали пилы. Ребята работали, а в глаза друг другу смотреть избегали. Паше топор почему-то казался тяжелым, топорище неловким. В обед он нерешительно высказал предложение:

– А не съездить ли кому-нибудь, братцы, к Чуренкову. Может, посмотрели бы – пошло дело...

– Поезжай. У него там, поди, сахар. Чудеса в решете. Шевельнет пальцем – и елка на боку, – съязвил Фереферов.

– Можно бы и съездить, вреда не будет, – неуверенно поддержал Пашу Сеня Некрасов.

Несколько раз возобновляли ребята разговор об этом. Сошлись на одном: пусть Паша поговорит с рабочкомом. Если поддержат, отчего не съездить. В рабочкоме Пашу поддержали. Дали немного денег на дорогу. Ребята тоже раскошелились малость. Паша повеселел.

– Вы, братва, тут без меня не рассыпайтесь. Уж дотяните как-нибудь...

2

До Ханюги Паша еле добрался через неделю, измученный, голодный, с обмороженным кончиком носа. Пробирался где пешком, где на попутных лошадях. Ночевать приходилось как попало, иной раз прямо в лесу, у костра. Обтрепанный, неумытый, с распухшим носом, он выглядел похожим на бродягу. В Ханюге с трудом нашел ночлег. После подозрительных взглядов и расспросов хозяев улегся спать на лавке близ самой двери. И проспал беспробудно чуть не сутки. Проснулся, когда хозяйка затопляла маленькую печурку, чтобы под вечер, к приходу хозяина из делянки, было тепло в избе.

– Здоров спать-то, – приветствовала она Пашу. – Али уходился крепко?

– Был грех, – позёвывая ответил он.

Пришел хозяин, стали ужинать, позвали и Пашу.

– У тебя, брат, завтрак ещё, – пошутил хозяин.

– А я уж забыл, когда завтрак, когда ужин, – усмехнулся Паша.

– Да, издалека путешествуешь. Небось по важному делу?

Глаза хозяина испытующе ощупывали незваного гостя. Паше не хотелось говорить о цели своего путешествия. Здесь, в Ханюге, она вдруг стала казаться ему несерьезной, легкомысленной. Засмеют ещё. Он начал не очень складно толковать о комсомольском поручении – будто послала его ячейка ознакомиться с опытам работы комсомольцев Ханюги.

– Из Сузёма? В Ханюгу? Пешком? Ну-ну! – покачал головой хозяин и больше расспрашивать не стал.

Паша чувствовал, что ему не верят. Краснея, он распорол зашитый внутренний карман пиджака и показал комсомольский билет. Хозяин успокоился. Разговор пошел лучше. Паша выяснил, где делянка Чуренкова. Хозяин об этом лесорубе отозвался хорошо.

– Мужик работный, и голова на плечах. Какой он из себя? Да обыкновенный, небольшого роста, коренастый. С лица? Чего ж с лица! И нос и рот на месте, без финтифлюшек. Для чего тебе дался Чуренков? Он ведь не комсомолец...

– Это я так, к слову, – смутился Паша. – Человек-то он известный. У него, говорят, бригада хорошая...

– Головастый парень, верно...

Хозяин, видимо, сам знал Чуренкова понаслышке.

Участок Щепки, где заготовлял лес Чуренков со своей бригадой, Паша назавтра разыскал. Добрался и до делянки, но к бригадиру сразу не пошел, а стал наблюдать со стороны. Смотрел час, смотрел два, уж начали зябнуть ноги, а ничего особенного высмотреть не мог. Трое мужчин и трое женщин работали не спеша, с отдыхом, перебрасывались шутками, временами слышался смех, прозвенела короткая частушка. Который же Чуренков? Тот, в буденовке, что подпиливает деревья? Нет, говорят, Чуренков приземист и кряжист, а этот сухощав и высок. Да и с лица вроде не русский. Может, так издали кажется? А не этот ли, с зеленым шарфом на шее? Вон сейчас раскряжевывает дерево. Он? Моложав, вряд ли. Так вот же, с девчатами сучья обрубает. Правильно, он – и не высокий, и плотный. Только зачем бригадиру становиться за сучкоруба? Нехитрая эта работа, справится с ней и девчонка...

Приспела пора завтракать. Девчата развели костер. Лесорубы уселись в кружок. Паша подошел к ним.

– Хлеб да соль.

– Присаживайся, гостем будешь.

Лесорубы оглядели незнакомого. Без инструмента, с припухшим носом, странноватый человек.

– Куда дорогу направляешь? – спросил скуластый в буденовке грубоватым баском.

– Чуренкова ищу.

Все повернулись к тому загорелому, коренастому, что с девчатами обрубал сучья. Он встал, держа в одной руке цигарку, в другой кисет.

– Это я. Закуривайте.

И протянул кисет. Паша взял, долго свертывал цигарку, не зная, с чего начать разговор, чтобы не получилось смешно. Чуренков выручил сам.

– Вижу, издалека. Наверно, «секрет» узнавать?

Паша, прикуривая, излишне усердно тянул дым, закашлялся.

– Как вы угадали? – спросил он, вытирая выступившие от кашля слезы.

– Узнать не мудрено. К нам частенько приезжают за «секретом», да уезжают ни с чем.

Чуренков сокрушенно вздохнул, а в глазах мелькала лукавинка, уголки губ вздрагивали.

– Ни с чем уезжают. Походят-походят вокруг да около, понаблюдают... А чего наблюдать? Только ноги морозить... Да еще носы...

Тут Паша не выдержал, расхохотался.

– Зорок же ты, товарищ Чуренков! А я думал, никто меня не видит, дай, понаблюдаю со стороны...

– И чего же высмотреть изволили?

– Да как сказать, – в Пашин глаз залетела соринка, он заморгал. – Я ведь недолго...

– Тогда так, – серьезно сказал Чуренков, – вон там, у этой сосенки, топор и лучковка. Забирай да становись в наши ряды. «Секрет» делом узнается.

– Вот хорошо-то! – обрадованно воскликнул Паша. – Совсем ладно...

Чуренкову понравился этот наивноватый паренек.

– Становись, покажи себя. А заработок получишь по коэффициенту, не обидишься.

– Что ты, товарищ Чуренков! Да я разве...

– Ладно, ладно, действуй... Да ты завтракал? Девчата, покормите его, только быстрей.

Уж и старательно же трудился Паша в этот день на чужой лесосеке! От спины валил пар облаком, волосы слиплись на лбу. Чуренков посматривал на него, усмехался, ничего не говорил.

Вечером десятник принял нарубленный лес. Паше показалось, что он ослышался, когда десятник назвал кубатуру. Он не удержался, заглянул через плечо в ведомость.

– Что? Неверно записал? – насмешливо спросил скуластый лесоруб.

– Я совсем не поэтому...

Паша готов был сквозь землю провалиться.

– Ты, Хабибула, не смущай человека, – сказал Чуренков. – Где остановился-то, Павел?

– В Ханюге...

– Тогда вот что – иди ночевать к Коле. Пастушенко, приюти товарища, места у тебя хватит. Ладно? Вот и добро. А ты, Павел, вечером заходи ко мне. Потолкуем, познакомимся как следует...

Они просидели с Чуренковым за полночь. Павел после шутил, что он прошел вечерний лесорубческий университет. Простые вещи, кажется, говорил лесоруб, а у юноши буквально открывались глаза.

– Что самое главное? – спрашивал Чуренков и отвечал: – Самое главное – труд разделить в бригаде так, чтобы каждый по силам и способностям дело получил. Мы с Хабибулой на лесном промысле собаку съели. И как видишь, не подавились. Лучковкой владеем, не боюсь похвастать, изрядно. Стало быть, наше дело – валка деревьев с корня. На раскряжевке у нас два Николая. Вполне справляются. А трое девчат – Лида, Поля и Катя – с сучками успевают разделаться. Вот и идет у нас всё как по маслу. Правда, не всегда как по маслу. В лесу работаем, не в заводском цеху. Случается то там, то тут закавыка. Тогда маневрируем. Коля Савочкин у нас знаешь как называется? Скользящим. Он и верно скользит. Девчата с сучьями не справляются – он на сучья. Валка отстает – он на валку. А так его дело – раскряжевка. Ну, и я сам, бывает, перехожу на тот процесс, который отстает. Мне, как бригадиру, надо всё держать под наблюдением, всё видеть. А главное моё место на валке. Вот так и ковыряемся помаленьку. Получается, нельзя жаловаться. Поработаешь с недельку – сам увидишь.

Чуренков помолчал, будто вспомнил, что-то, потер лоб.

– Иные говорят: как же ты, лучкист первой руки и силой не обделенный, соглашаешься на девчушек робить, которые ещё и для обрубки сучьев не совсем сноровисты? А я отвечаю: кто знает, я ли на них роблю или они на меня. А правду скажу, я пробовал, один заготовлял –

выработка была почти такая же, чуточку даже меньше, чем в бригаде. Выходит, стало быть, я ничего не теряю. Тоже и Хибибула. А Коли наши, те выигрывают. О девчатах и говорить нечего. Получается похоже на чудо: из ничего вино. Чуда, понятно, нет. Выигрыш дает правильная организация труда, совместная работа.

Паше хотелось спросить, а как, мол, с оплатой? Всем поровну али нет? И нет ли обид? Да спросить не решался: еще подумает, что такой корыстный человек. А Чуренков сам заговорил об этом. Он объяснил, как строится у них оплата с учетом способности и умения. И обид никаких нет, все довольны. Чуренков примолк, легонько позвякивая ложечкой о стакан. Потом продолжал неторопливо.

– Оплата – дело не последнее. Это так. Но она все же не главное. Соль в том, куда человек глядит. В моей бригаде народ хороший. Не за деньги работают, нет... Рубишь елку – простая штука, бревно и бревно. Раз топором – щепки летят. Уж, кажись, грубее твоего труда, лесоруб, и на свете нет. А ты не просто маши топором, а и думай. Вот раскряжевал ты лесину. А это и не лесина вовсе – толстая ученая книга, листай её страницы да набирайся ума. Или, может, это та самая фанера, из которой будут сделаны крылья самолета, и ты, лесоруб, на них поднимаешься до самых облаков. Возможно, из твоей лесины сделают скрипку, и, когда она заиграет, какое удовольствие получат люди! Слыхал я, что скоро из наших бревен будут делать шёлковые рубашки. А что? Наверно, будут. Так вот срублю я этакую красавицу в обхват, распилю на кряжики, а придет какое-то воскресенье – и она на мои плечи ляжет, зашелестит, охолодит немножко. Выряжусь в новую шелковую рубаху, срубленную мной в делянке Щепки. Нет, я, лесоруб, не просто спину сгибаю ради лишнего рубля. Рубль, он придет, не ленись только. Я и вперед гляжу, желаю хоть краем глаза увидеть, какой ступенькой к коммунизму ляжет моя лесина...

Чуренков провел растопыренными пальцами против волос по Пашиной голове.

– Наговорил я тебе, пожалуй, думаешь: «Ну и болтун». Что делать? Люблю поговорить с хорошим человеком. А нос-то ты изрядно же поморозил. Долго придется ходить с такой шишкой. Ну, да ничего, за общее дело и пострадать можно. Сузёмские комсомольцы по носу увидят твои старания. Только ты, смотри, довези до них, не растеряй почерпнутый опыт. Он ведь жидок, растечется дорогой.

– Не растечется, Пётр Сергеевич. За недельку-то, может, и закрепится здесь,– он постукал по черепу. – Хоть и дыровата посудинка, да что-нибудь удержится...

– Ладно, иди спать. Завтра рано в делянку.

Чуренков проводил Пашу до порога, подал руку.

– Посоветовать тебе хочу: через силу-то не убивайся в делянке. Не в этом корень. Не силой, а уменьем стремись брать. На поту далеко не уедешь. Вот тебе и весь мой «секрет...» Иди спать.

Паша шагал по ночной, улице поселка. В морозной тишине потрескивали зауголки домов. Далекие звезды смотрели на юношу. Видели они или нет, как хорошо у него на душе? Ему вдруг захотелось в Сузём, к своим комсомольцам. Он повернулся в сторону не видимого отсюда Сузёма и сказал:

– Не падайте духом, ребята.

Глава четвертая
ХАРЛАМ ТЯНЕТСЯ К САНУ

1

Отец Евстолий пришел домой поздно. В широких грубого сукна штанах, заправленных в валенки, в легкой ватной кацавейке с воротником из остриженной овчины, он ничем не напоминал того кругленького, благообразного попика, каким был ещё недавно. Только пышная борода, тронутая куржевиной, осталась от недавнего поповского облика. Космы волнистых волос, ниспадающих от закрайков плеши, он тоже сохранил, они, упрятанные под шапку, не были видны. И внешне отец Евстолий походил на пожилого старомодного мужичка, какие в деревне ещё водились. Работал он дровоколом на железнодорожной станции и, говорят, работал неплохо. По старой привычке многие называли его отцом Евстолием. Он откликался, но при этом смущенно склонял голову набок и теребил бородку. Местная интеллигенция обращалась к нему по имени и отчеству – Евстолий Ильич, – и это ему нравилось. А когда товарищи по работе – дровоколы, не знавшие его прошлого, грубовато покрикивали ему: «Евстоха!» он и это принимал, как должное, хотя украдкой вздыхал.

В кухне было темно. Отец Евстолий положил колун под приступок у печи, разделся, аккуратно развесив на спицах заколевшую на морозе кацавейку, снял валенки и поставил их на печь. И только тут заметил, что попадья сумерничает не одна. Против нее сидит женщина. Всмотревшись, он узнал Платониду.

– Здравствуй, здравствуй, Платонида Сидоровна, – ответил он на её приветствие, шлепая по полу босыми ногами. – Вы зачем в потемках-то? Зажгли бы хоть свечку. Есть ещё свечки-то, сохранились... Чего их беречь, не понадобятся...

– А мы с матушкой посумерничать захотели, – ангельским голоском пропела Платонида. – Садись-ко и ты, батюшка.

Евстолий нащупал в печурке спички, зажег тонкую желтого воска свечу в медном позеленелом подсвечнике, поставил на стол.

– Вот так-то приятнее будет сумерничать... Чайком побалуемся... Густенька, вскипел ли самоваришко, глянь-ко...

Длинная, чуть не до потолка, Густенька переломилась надвое, наклонясь к самовару, продула его, сунула уголек – и самовар вскоре зафыркал и тоненько засвистел. Отец Евстолий не без усилий водрузил его на стол. Самовар был вполне поповский, размером не меньше хозяина.

– Сима не приходил ещё? – опросил Евстолий.

– Нет, он нынче поздно приходит, – отозвалась Густенька и пояснила Платониде:– На службу поступил Симка-то, взяли. В этом самом, как его?.. Не научусь выговаривать... хопкрылосе... Прости, господи, язык сломаешь.

Поп захохотал.

– Крылосе... Тут крылосом и не пахнет... Коопералес, лесная кооперация, вот что, – расшифровал он супруге мудреное слово.

Она всё равно не очень поняла.

– Ну ладно, пущай. Вроде потребиловки, значит... Так вот, поступил Сима-то. Что поделаешь, жить надо, – пригорюнилась бывшая попадья.

– Как не надо, – поддержала её Платонида. – Проживем. Кончится наказание божие... Господь не даст погибнуть рабам своим... Надо только не забывать всевышнего, в трудах и муках помнить его заветы. Так ли, батюшка?

Евстолий перебирал бороду пальцами, склонив головку и потряхивая ею в такт Платонидиным словам. Платонида говорила негромко, но с большим жаром и благочестием в голосе. Она посокрушалась, что церковь разрушена и её уже не восстановишь, но тут же сделала бодрое заключение: и без церкви можно веровать в бога, и без церкви можно молиться.

Однако без священника нельзя, он нужен.

– Ты бы, батюшка, не ронял свой сан, служил бы... В приходе-то тебя знают и любят. И духом ты светел, и нравом ты мягок, и ликом ты настоящий служитель божий, – стала Платонида улещать бывшего попа. – Почто тебе дрова колоть? Возглашай ты в алтаре осанну и аллилуйю.

Евстолий слушал молча, только быстрые его глазки беспокойно бегали. Платонида собрала все свои проповеднические способности. Она сыпала словами из священного писания, ссылалась на авторитеты пророков и святителей, то подливала елей, то стращала гневом божьим, то прельщала земными выгодами. Бывший поп молчал. Тогда Платонида обратилась за помощью к попадье.

– Ты-то, матушка, как соображаешь умом? Скажи-ко...

– А и вправду, чего молчишь, отец! Так и будешь хрястать дрова? Вишь, люди хорошие говорят: служить можно...

Евстолий вздохнул, почесал за лопаткой, ещё вздохнул и с виноватым видом посмотрел на супружницу.

– Не встревай уж, мать. Не архиерей ты, чтобы попом ставить...

Он отхлебнул из кружки добрый глоток чаю, подождал, когда растает сахар во рту, проглотил чай, обратился к Платониде.

– А я владыке сказал: «Снимайте сан не снимайте, а служить я не могу. Храм божий порушен, крест священнический не удержал я в руках. Какой я священнослужитель?» Владыка не гневался, он только заплакал...

У Платониды глаза стали жесткими. Она перевернула вверх дном чашку, положила на донышко огрызок сахара, поклонилась Густеньке, сказав: «Спасибо». Встала и выпятилась из-за стола.

– Не обессудьте за беспокойство, отец Евстолий...

В её голосе не было уже ни елея, ни мёда. Прямая, негнущаяся, она двинулась к дверям. У порога остановилась и обернулась.

– Ты, батюшка, всё же в сане... А как думаешь: можно облечь саном Харлама? Дай-кось на это благословение...

Евстолий опять почесал лопатку, как-то неопределенно хмыкнул:

– Да что... от псаломщика до дьякона один шаг... чего же...

В это время дверь открылась, и вошел Сима. Платонида закивала ему.

– Вот бы нам такого батюшку, молодого, славного...

Сима посмотрел на нее непонимающе. Она разъяснила:

– Иди-ка, Симочка, в священники. Твой родитель уж стар становится.

Сима покраснел и, заикаясь, ответил:

– В п-п-опы? Нет, в п-п-опы не гожусь...

2

Синяков вернулся из лесу простудившийся, голодный. Не ждал он жениной ласки, давно привык к равнодушным встречам, а всё же свет в кухонном окошке словно бы пригрел иззябшее сердце. Крыльцо ещё было не заперто: видать, Анфиса спать не собиралась. Она сидела в кухне и вышивала по канве.

– Долго ты, супруга дорогая, не спишь.

– А тебя ждала, драгоценный муженек, глаза все высмотрела, – бойко ответила Анфиса.

Пока Федор Иванович раздевался, Анфиса разожгла самовар, нарезала хлеба, принесла

солёных рыжиков. Пошарила в кухонном шкафу, захлопнула его, повертелась около стола, оправила скатерть, опять подошла к шкафу, постояла в нерешительности и, наконец, извлекла бутылку с красненькой головкой. Синяков расширил глаза.

– Это что ещё за фокус?

– Какой же фокус, Феденька? – маслянистым голосом залебезила жена. – Думаю, с дороги-то он прозябнет, припасу для сугреву... Нешто плохо, Федя?

Муж изумился такой заботе супруги и умилился её нежданной лаской, а в общем он был не против малость согреться.

– Коли так, придется попробовать. Давай-ко держи... Со встречей...

Анфиса не терпела водки, бывало, даже на праздники и то не без труда приходилось уламывать её купить сороковку. Федор Иванович не узнавал жены. Рюмку она проглотила резво, поморщилась в меру и, что особенно удивительно, закусила умело, с полным знанием техники. После рюмки она чуточку разомлела, подсела к мужу и стала ласкаться, чего, кажется, не бывало с тех пор, как прошел медовый месяц. Синяков тоже размяк, смотрел на неё начинающими соловеть глазами и думал: «Чем плоха моя Анфиса? Ей-богу, баба хоть куда... Волосы – лен, щеки – яблочки, глаза, что тебе вода в «кваснике», ишь, брызжут, светлые...»

А Анфиса щебетала и щебетала, увиваясь вокруг мужа. То прическу ему поправит, то пушинку снимет с пиджака, то выберет самый маленький рыжичек, подцепит его на вилку и подаст мужу.

– Скусно ли? – заглядывает ему в рот.

Тот жуёт, улыбаясь, причмокивая губами.

– Шибко скусно!

Вдруг Анфиса встрепенулась, убежала в горницу, стала разбирать кровать, шутливо крикнула на ходу:

– Ты без меня, смотри, не опорожни бутылку-то... вместе...

Синяков, погрузневший, встал, сбросил пиджак и зашагал в горницу, забыв снять валенки, по лоснящемуся полу. Анфиса ахнула.

– Федор!

Ласковой и доброй жёнки как не бывало. Анфиса ощетинилась, глаза округлились, вся она стала похожа на рассерженную кошку, даже зафыркала очень похоже. Синяков понял свою оплошность, вернулся к порогу кухни и стал снимать валенки. Но было уже поздно: Анфиса тряпкой затирала еле заметные следы на полу, зло ворчала. В это время раздался легкий шорох в сенях, послышались шаги, и на пороге показался Харлам Леденцов. Увидев Синякова, он на мгновение опешил, но сразу же загрохотал могучим басом:

– Долго ты, председатель, в лесу пропадал. Ждал я, ждал, насилу дождался. Сказали: дома Синяков, я с ходу и к тебе. Дело у меня есть, председатель, очень сурьёзное... Ты с дороги устал, – псаломщик покосился на бутылку, – но уж не прогоняй меня, дай решение...

Синяков, насупившись, сидел у стола. Настроение у него было гадкое. А тут ещё этому чего-то понадобилось, на ночь глядя. Он не взглянул на псаломщика.

– Что у тебя такое нетерпящее?

Леденцов окончательно оправился, без всякого приглашения сел к столу, положил на середину стола шапку.

– Я к тебе не от себя, Фёдор Иванович, а от прихода...

– От какого ещё прихода? – вскинул брови Синяков.

– От нашего, от верующих...

Псаломщик незаметно мигнул Анфисе, которая выглядывала из-за косяка горничной

двери. Она вышла, чиннехонько поклонилась Леденцову.

– Здравствуешь, Харлам Мефодьевич! Поздненько ты что-то прикатил?

– Понадобится, так пойдешь хоть ночью, – учтиво ответил Харлам, состроив при этом смешную гримасу.

Хозяйка захлопотала у стола.

– Чего же ты, Федя, не потчуешь гостя? Придвигайся-ко, Харлам Мефодьевич, да поддержи компанию с хозяином.

Она налила водки в мужнину, в свою рюмку и достала из шкафчика третью, но не рюмку, а медную стопку.

– Ты не обессудь, гостюшко, посуды-то у нас винной мало, не держим. Хозяин у меня не питок, так вот только, с дороги... Принимай-ко...

Харлам не стал заставлять уговаривать себя. Анфиса пригубила. Синяков не притронулся к рюмке. Леденцов, не обращая на это внимания, аппетитно захрустел рыжиками, бровью указывая Анфисе, чтоб подлила в стопку снова.

– Так вот, Федор Иванович, верующие желают открыть церковь в старой часовне, где нынче склад у потребиловки. Надо уважить верующих, трудящиеся они, – начал Леденцов таким тоном, будто он не просил, а давал указание.

– Есть церковь в Пустыне, и хватит им, – буркнул Синяков.

– Далеко! Походи-ко сам в такую даль...

– А я никого и не посылаю...

Псаломщик без стеснения выпивал стопку за стопкой, говорил кругло и многословно, иногда прибегал к священному писанию, иногда переходил на деловой язык с употреблением самых модных советских терминов. Не забывал в то же время строить Анфисе уморительные рожи, так что той приходилось то и дело прикрываться пяльцами с вышивкой. Синяков неохотно и грубовато отбивался от назойливого посетителя, а больше молчал. Но в конце концов не выдержал, встал, прошелся по кухне, смешно шлепая босыми ногами. Заметил язвительный взгляд псаломщика, вскипел.

– Поезжай-ка на лесозаготовки, Леденцов, лучше дело будет. Никакой мы тебе церкви открывать не станем. И разговор окончен. Допивай и очищай кухню. Спать хочу.

Леденцов заерзал на лавке, поняв, что перехватил лишка. Он попытался исправить положение уступчивостью.

– Так я, конечно, не настаиваю... Ежели нельзя, то...

Но тут не в пору вступилась Анфиса.

– Чего ты упрямишься, Федор? Эка невидаль – старая часовня! Она наполовину развалилась. Отдай ты её верующим. Тебе же добром отплатят...

Синяков остановился перед женой, уставился на неё, будто силясь узнать, и сказал, сдерживая гнев:

– Иди в горницу.

– Вот еще! Я тебе не раба, чтобы так помыкать.

– Я что сказал? Иди в горницу, – повторил Синяков.

– А не пойду! – с вызовом крикнула Анфиса, но осеклась, взглянув на мужа. Она вспомнила полено и засеменила из кухни. Синяков повернулся к Леденцову и безмолвно уперся в него взглядом. Тот поспешно схватил шапку, с сожалением посмотрел на остаток водки в бутылке и нырнул в дверь.

– Так-то лучше, – сказал Синяков, запер дверь и полез на полати.

Неделю спустя Семён Бычихин с поручением Платониды поехал в город Великий Устюг к архиерею. Подъезжая к перевозу, с прибрежного холма Семен положил сорок поклонов сорока устюжским церквам. Хотя действующими были две-три церкви, но купола у всех горели ярко, позолота ещё не слиняла. Семен не сразу нашел архиерейское обиталище. В бывших архиерейских палатах разместились кустарные мастерские, а где живёт «владыка» и существует ли он, встречные не знали. Но Бычихин был упорен в поисках, и он нашел. Ему указали низенькую пристройку у собора – бывшую сторожку. Вот тут и благоденствует ныне «владыка». Семен долго стучался. Дверь открыл мужчина в пиджаке и плисовых штанах, заправленных в высокие сапоги, с подстриженной бородой и недлинными волосами. «Наверно, архиерейский служитель», – подумал Бычихин. Он благочестиво перекрестился, ступая за порог.

– Вам кого? – настороженно спросил мужчина в пиджаке.

– К владыке я, к его преосвященству. Спроси, может ли преосвященный допустить меня, грешного.

– А вы по какому делу?

– По церковному, по православному...

Мужчина в пиджаке указал Семену на дверь в соседнюю комнату. Староста благоговейно потупился, осторожно шагнул за порог. Тесные архиерейские покои поразили его своим благолепием. Парча и пурпурный бархат украшали их. В углах мерцали зеленые лампадки. Позолота богатых киотов тускло поблескивала на стенах. Запах ладана и кипариса наполнял небольшую комнату. На столе в бронзовом подсвечнике потрескивала свеча. Семен сел на указанный ему стул. Озирался, недоумевая, где же владыка. Мужчина в пиджаке уселся напротив, закурил.

– Чем могу служить?

Семен мял шапку в руках.

– Мне бы увидеть владыку. Али его нет дома?

Мужчина чуть заметно усмехнулся, стряхнул пепел с папиросы на основание подсвечника.

– Архиерей – это я. Если вы ко мне, я вас слушаю.

У Семена пропал дар речи. Не таким он представлял себе архиерея. Стриженый, похожий на мясника, дымит табаком и по разговору совсем не похож на преосвященного. Семена взяло сомнение, он беспокойно заерзал на стуле.

Архиерей понимающе повел бровью.

– Вас, вероятно, удивляет мой облик, не совсем, так сказать, архиерейский. Успокойтесь. Я действительно архиерей. А что не в надлежащем одеянии, так, полагаю, дома незачем носить митру, не нужны омофор и саккос, можно снять панагию. Не так ли?

– Оно так, – нерешительно согласился Семен. Архиерей наклоном головы подтвердил, что действительно так, встал, подошел к шкафу. Открыв дверку, он навлек из шкафа огромную горшкообразную шапку золотого шитья, усыпанную каменьями – настоящими или фальшивыми, разбери – и водрузил её на свою голову. Бычихин невольно перекрестился. В открытом шкафу тускловато поблескивало парчовое архиерейское облачение.

– Ваше преосвященство, простите меня, неверного, согрешил я, – склонился Семен.

– Ничего, бывает, – с иронической улыбкой ответил архиерей, положив митру на место, закрыл шкаф.

– Итак...

Бычихин не без сбивчивости передал поручение Платониды. Нет церкви, нет священни-

ка, есть псаломщик. «Псаломщика просим облечь в сан священника. Будет ли на это соизволение владыки?» Эти фразы Семен заучил, они сказаны Платонидой.

Наступила пауза. «Владыка» не отвечал, сидел, возведя очи горе. Семен ерзал на стуле. Он ждал ответа, а ответа не было.

– Ваше преосвященство, – потупясь произнес Семен. – Там, у постоялого, мой воз. Благослови, святой отец, разгрузить его. Во славу церкви православной... Облагодетельствуй, ваше преосвященство...

Архиерей разгладил бороду, благословил Семена, удостоил его приложиться к владычной руке.

– Ну что ж, пусть приезжает ваш псаломщик, рукоположим... Послужит в соборе дьяконом недельку, а там облечем и саном священника.

Через месяц Харлам Леденцов вернулся в Сосновку из Великого Устюга в рясе и с наперсным крестом. Семен первый встретил его с умилением и первый уважительно назвал:

– Отец Харлампий...

Глава пятая

НЕ РАДИ КАРТОФЕЛЬНОГО КИСЕЛЯ

1

Бережной не ленился делать порядочного крюка, чтоб побывать в делянке Пашиной бригады. Пока Паша путешествовал в Ханюгу, Егор заглядывал туда не однажды. Увидев его, ребята говорили:

– Опять идет соревнователь наш...

– Небось страшится, как бы мы его не обогнали...

– Перегоним, того и гляди, как хохлатка сокола...

А Егор придет, сядет на пенек, свернет цигарку, с достоинством расправит усы, спросит, снисходительно поглядывая:

– Как робится, соревнователи? Сдвиги есть?

– Небольшие-то есть, Егор Павлович, – отвечают ребята. Они и в самом деле пообвыкли, втянулись, выработка стала понемножку расти. Однако до нормы ещё не дотягивают. Бережной посмотрит их топоры, тронет пальцем острие, проверит, прищурив глаз, развод у пил, скажет:

– Точите лучше. Исправный инструмент – половина успеха.

Молодежь почтительно слушает, некоторые улыбаются в рукав. Им эти мудрые слова известны из плаката на стенах барака. Приглядится Егор, как стоят рубщики у комля дерева, начнет поправлять.

– Ногу отставь, не горбаться, а будто приседай, руками двигай без нажима: пила лучше пойдёт, меньше устанешь...

Молодежь старается следовать советам, но не всегда у неё получается, как у опытного лесоруба. Егор показывает раз и два, с терпением и спокойно.

– Ничего, научитесь... Да и силы поднакопится...

В день возвращения Паши Егор пришел в барак; где жила бригада. Слушал длинный и подробный Пашин рассказ о Чуренкове и его приемах. Паша волновался, расхваливал чуренковскую бригаду до небес, восхищался самим бригадиром.

– Это настоящий лесной богатырь. И берет он не силой, а умом да ещё тем, что не о себе и своём кармане думает, а об интересах государства. О других заботится прежде всего...

Бережной придирчиво расспрашивал, вникал в подробности. И никак не мог поверить, чтобы на каждого из семерых в бригаде приходилось больше, нежели нарубает он, Егор Бережной Ну, пусть Хабибула и те два Николая тоже, допустим, не уступят. Возможно. Так девки-то! Они и топора небось по-настоящему не умеют держать... И силенка у них какая? Им тягаться с Бережным? Почему-то в Сузёме нет пока таких не только девок, но и мужиков. Что ни говори, а тут фокус. Пыль пустил в глаза Чуренков, вот...

Паша не стерпел такой охулки. Он набросился на Егора чуть не с кулаками.

– Ты единоличник, только о себе думаешь и по себе всех примеряешь. Чуренков... Знаешь, какой это человек? Это такой человек... Такой человек... А ты – фокусы и пыль... Вот посмотришь, мы в нашей бригаде применим чуренковский способ, не пришлось бы тебе нас догонять...

Бережной невозмутимо улыбался, а на душе у него было смутно. «Мальчишка, а так отчитал. Ещё грозится: догонять, перегонять... Языком-то болтать легко. Ты у пня поболтай с толком... Да где тебе – материно молоко на губах не обсохло...»

Ничего этого вслух сказано не было. Осталось в Егоровой душе. Бережной неторопливо встал, застегнулся на все пуговицы, нахлобучил шапку и поклонился.

– Прощайте-ко... Обгоните, так подайте весть...

2

Всю неделю сосал Егорову душу червячок. Подмывало заглянуть в Пашину бригаду, узнать, что у них творится. Но Егор старался заглушить это желание; топор ли возьмет – щепы брызгами летят, пилой ли займется – опилки тучей. А червячок посасывает и посасывает. Не вытерпел Егор, направился вечером в делянку к Пашиной бригаде. Ребята разделывали последние стволы. Сучья в костре пылали, освещая лес мятущимся пламенем. Егор сделал вид, что заглянул по пути.

– Не пора ли, братушки, на отдых? – сказал он подходя.

– Сейчас к дому, – весело ответил Паша. – Десятник примет древесину, и потопаем.

Иван Иванович замерял кряжи метром с медным крючком на конце, записывая в измусоленную тетрадку. Придирчиво осматривал каждый кряж: нет ли заболонной гнили, «табачного» сука и иного древесного порока. Записав всю принятую древесину, десятник, наморщив брови, долго подсчитывал. По мере подсчета лицо его становилось все более изумленным. Он то смотрел в тетрадку, шевеля губами, то вскидывал глаза на ребят и оглядывал их с головы до ног, будто впервые видел. При этом косматые брови его то сходились, то расходились. Егор через плечо тоже заглянул в тетрадку. Паше невольно вспомнилось: он так же высматривал итог у Чуренкова. И Паша спросил совсем похоже на Хабибулу, даже с акцентом:

– Что? Неверно записал?

Мастер подумал, что вопрос относится к нему, и ответил:

– Нет, верно записал. Пошло у вас, ребята, дело. Пожалуй, ещё немного, они тебя и обгонят, Егор Павлович.

– Обгонят так обгонят, – промямлил Бережной, и всю дорогу до дому эта фраза не давала ему покоя, всё возвращалась, он повторял её то в уме, то вслух. И удивлялся – до чего навязчивая! Подумаешь, велико дело – ребятишки стали дожимать. И пусть их! Так нет, не идет из головы у серьезного мужика глупая мальчишеская погудка. Осилили, ишь ты... Лешева погудка! То ли честолюбие задели у Егора, то ли растревожили иную жилку, а потерял мужик покой. Не находит себе места.

3

Прошел месяц. Егор ни разу не наведался в бригаду. Выросли большие, сами с усами. Няньки им больше не надо. И хочется узнать, что у них там, да не пойдет, и вся недолга. Что он – дитё, – вперегонки играть...

Обычно, проходя мимо столовой, Егор скашивал глаза на Доску почета. Там первым стояло его имя. Он старался казаться равнодушным. Придумают, мол, тоже – почетная доска! Будто уж такой почет, ежели имя твое мелом нацарапают. Но сквозь напускное равнодушие просвечивало что-то другое. Смотреть на своё имя, хоть и мелом нацарапанное на выкрашенной суриком доске, ей-богу, было приятно. И вот идёт Егор мимо столовой, косится привычно на доску и начинает часто-часто мигать: на том месте, где стояла первая буква Е с завитушкой, этой буквы нет, и завитушка другая. Уж не опилок ли в глаза попал? Да нет, не опилок! Егорову имени пришлось малость потесниться, спуститься на строчку ниже. А сверху стала бригада Паши Пластинина. Егор поскреб затылок: не успел схватиться – пришлось скатиться. Оглянулся, не видит ли кто. Нет, улица пуста. А зашел в контору, оказалось, что видели. Иван Иванович первый скалит зубы.

– Довелось, брат, тебе съехать малость, Егор Павлович. Молодежь вперед выскочила.

– Бывает, и курица петухом кукарекает, – ответил Егор. Он поспешил сесть в угол и заняться цигаркой.

Контора была новая, с желтыми пахучими стенами и плотным струганым полом. И облака табачного дыма в этой сверкающей желтизне казались особенно нелепыми. Но все курили и бросали окурки прямо под ноги. Лесорубов набилось много. Одни сидели на скамейках, расставленных вдоль стен, другие стояли, прислонясь к стене плечом, а кто присел на корточки и так покуривал да подрёмывал. Многие толпились у стола, наседали на Ивана Ивановича. Он сегодня чувствовал себя немножко по-праздничному: ему присвоили звание мастера леса. Однако лесорубы не очень считались с настроением нового мастера. Тот просил новые рукавицы, тому нужно было заменить топор, а этот кричал, что без напилка пальцем пилу не выточишь, а выклянчить у кладовщика новый напилок труднее, чем добыть молока от завхозова козла. Один совал мастеру в нос квитанцию и негодовал, что неправильно выведена кубатура, другой жужжал над самым ухом о разбитом стекле в бараке. Иван Иванович, не обращая ни на кого внимания, усердно вычерчивал диаграмму. С великим тщанием, прикусив кончик языка, он прикладывал к бумаге линейку, проводил сперва тонкую лилию карандашом, потом чернилами. Затем заливал столбики диаграммы и страшно боялся, чтобы чернила не расплылись и не испортили всю музыку. Наконец он обвёл столбики красные и синим карандашами, нарисовал красивые округлые цифры. Готовую диаграмму приколол кнопками к стене. Лесорубы без особого интереса посмотрели на произведение мастера и, видя, что он освободился, с новой силой высыпали на него все свои докуки Иван Иванович замахал руками.

– Да подождите вы! Сначала с планом утрясем. Видите, как задание увеличилось, – он показал на диаграмму. – Вопрос, как его обеспечить...

– Обеспечим, не первый раз...

– Не сто, так пятьдесят всяко сделаем...

– Нам в привычку, так-то...

Иван Иванович вылез из-за стола, прихрамывая, подошел к двери и распахнул её. Облако пара хлынуло по полу. Такое же облако, только сизое, потянулось, колыхаясь над головами, к двери.

– Чище будет атмосфера, – сказал мастер. – Дайте-ко, братцы, подумаем, как нам ловчее

с планом справиться. Вот у ребятишек дело вроде пошло. Егора Бережного уже перехлестнули. Где ты, Егор Павлович, чуешь? Бригадой-то, выходит, в самом деле ловчей... Не зря тут про Чуренкова болтали. Может, ещё кто хочет бригадой попробовать? А? Ты, Егор, не думаешь?

– Одному отставать не столь стыдно, – откликнулся Егор из угла.

– Он не отстанет...

– Он, возможно, и не отстанет, другие отстают...

– Я за других не ответчик...

– Ну, как знаешь...

Иван Иванович убрал свои чертёжные принадлежности в ящик стола, оперся о столешницу руками.

– Кто надумает, товарищи, в бригаду, потолкуйте меж собой, потом мне скажите. Инструменты новые получены, пильные полотна из тонкой, особого закала стали. Будем выдавать в первую очередь бригадам. Тех, кто добьется в бригадах повышения производительности, из бараков будем переводить в новые помещения. Видели, строятся на берегу? Там на пятерых комната...

– А молочных рек с кисельными берегами для бригад не будет? – прозвучал ехидный голосок.

– Будут, – совершенно серьезно ответил мастер и тем убил насмешку. – По молоку договор заключили с колхозом «Красный Север». А кисель и ныне в столовой каждый день есть. Не знаю, много ли у продавца еще картофельной муки в запасе... Вон он идёт. Эй, Петрович!..

Мастер постучал кулаком в переплет рамы. За морозным узором стекла возник силуэт лохматой папахи.

– У тебя картофельная мука, Петрович, не вся вышла?

– Есть, хватит, – ответил басок за окном. – Тебе на клейстер, что ли?

– Нет, на кисель. Топай своей дорогой...

Лесорубы засмеялись: «И киселем обеспечил...»

– Раз будет кисель, тогда что ж, мы не против, – пискнул ехидный голосок. Его обладатель нырнул в сени, прихлопнул дверь. Иван Иванович развёл руками, поклонись ему вслед.

– Ладно, без киселя твоя рожа весела...

До поздней ночи горела в конторке жестяная мигалка с прокопченным стеклом Лесорубы со всего участка перебывали тут за вечер. Тысячу дел, малых, но важных, решил мастер. А Егор Бережной всё сидел и сидел в уголке, свертывая одну цигарку за другой. И только когда контора опустела, а Иван Иванович взял лампу со стола и повесил её на гвоздик, намереваясь гасить, Егор подошел к нему.

– Ты не ушел ещё, Бережной? – удивился мастер.

– Я попробую, Иван Иванович...

– Что попробуешь?

– Эту, как её, бригаду-то... Запиши уж меня...

Он обеими руками нахлобучил шапку, зашагал к двери. Взялся за дверную скобу, наклонясь под притолокой.

– Не ради киселя, не думай...

Глава шестая

В СУЗЁМ ПРИЕХАЛ ПЕНЬ КОЛОДИН...

1

Митя обхватил Пашу за плечи, тискал его, щекотал, дурачился.

– Ой, молодчага ты, Павлушка, прямо герой, чучело ты гороховое, лупоносый чёрт, орясина стоеросовая...

Паша с трудом освободился от дружеских объятий, отстранил приятеля, а сам не знал, как ему быть – улыбаться или хмуриться. Он всё же сдвинул брови, еле сдерживая готовую расплыться улыбку, и сказал обидчивым тоном:

– Ещё у тебя есть в запасе ругательные слова? Высыпай все заодно.

– Высыпал все, больше нет. Давай рапортуй по-деловому.

Пашин рассказ о поездке в Ханюгу так понравился Мите, что он тут же написал заметку об этом в газету.

– Нет, вы орлы у меня, ей-богу, орлы! Даже дядюшку Егора так обескуражили, что бедняге пришлось в бригаду записываться... Да, братцы, мы ему сегодня ещё перцу подсыплем. Вы знаете, какую я забористую штуку выдумал? Световую газету стал устраивать на участках. И здорово получается, лесорубам она нравится во как! Пень Колодин, старый лесоруб, разъезжает по делянкам, всё видит, всё слышит, ничего от него не скроешь, ничем его не улестишь. По заслугам и наградили высечет. Сегодня Пень Колодин появится и в Сузёме. Посмотрим, как его тут встретят...

Необычное объявление о приезде в Сузём какого-то Пня Колодина заинтересовало не только молодежь, но и пожилых лесорубов. Желающих посмотреть на невиданного гостя и послушать его приглашали в старый барак, где обычно показывались кинокартины. Людей набилось втугую. На обычном месте – экран, у противоположной стены – киноаппарат, около него возится Митя. Никакого Пня Колодина нигде.

– Кино будет, – разочарованно говорили зрители, желавшие увидеть что-то особенное.

– Бесплатно, так худо ли, – утешались другие, более практичные.

– А труба для чего?

Верно, из-за экрана выглядывал раструб старого граммофонного рупора, размалеванного яркими цветами. Снизу за экраном видны ноги в валенках. Там, наверно, этот Пень Колодин какую-нибудь штуковину готовит...

Гаснет свет. На полотне появляется смешно нарисованная фигура бородатого лесоруба в величайших валенках, в шапке с ушами чуть не до земли, с топором за поясом, с лучковкой на плече. И в тот же миг из граммофонной трубы раздается голос:

Вот, товарищи, и я!
Вы встречайте-ка меня.
Пень Колодин, ваш сосед,
Девяноста пяти лет...

Так представясь, Пень Колодин начинает говорить о Сузёме, будто он тут век жил и со всеми знаком. Сегодня он, оказывается, уж ушел побывать на складе и заметил, как, день проспав, кладовщик «вечером зевает и лесорубам инструмент выдать забывает». На экране, действительно, показывается кладовщик, сладко дремлющий на куче топоров и пил. Этот кадр сменяется другим, с изображением поросенка, важно восседающего за столом и попивающего чаек. А граммофонная труба орет:

Десятник наш легко решил
Свою хозяйскую задачу:

Он так умело превратил
Сушилку в поросячью дачу.

Тут появляется огромная, во весь экран рукавица, она быстро исчезает, а за ней тянутся голые руки. Труба поясняет:

Мы сидим без рукавиц.
И нельзя не удивиться,
Что отдельных важных лиц
Не заставишь шевелиться
Ни рукой, ни рукавицей,
Так им сладко-сладко спится..

Тем, кого столь чувствительно пощипывает Пень Колодин, добавляют ещё и сами зрители. Попавшие на экран поеживаются, иные пытаются отшучиваться, иные не выдерживают и уходят из барака. Но Пень Колодин не только критикует, он умеет и похвалить. На экране шестеро молодых парней выстроились в ряд. Самого крайнего зрители узнают.

– Пашка Пластинин! Он, ребята, смотрите – и нос облупился...

Труба подтверждает:

Вот первая бригада наша
А во главе Пластинин Паша...

Вдруг кадр меняется. Паша Пластинин бежит во весь дух, а за ним Егор Бережной – в валенках, но в трусах, в шапке, но в майке. Бережной изображен в напряженной позе, задыхающимся, язык на плече. А сам он огромный, в три раза больше щупленького Паши Пластинина. Зрители хохочут. Труба возвещает:

А ну, держись за мной,
Егор Бережной!

Егор сидел на полу, на самой середине барака. Он не стерпел и стал подниматься, чтобы уйти, оказался в луче киноаппарата, и тень его плечистой фигуры легла на экран. Зрители взвыли от восторга. Егор не понимал, отчего такое ликование, озирался кругом... И это вызвало новые взрывы смеха.

Пень Колодин в Сузёме получил полное признание.

Поздно вечером Егор пришел к племяннику в комнату для приезжающих. Грузно сел на табурет.

– Прокатил дядюшку, ославил... За что?

– Ты обиделся, дядя?

– Премного доволен. Благодарствую, племянничек...

– Кушай ещё, дядюшка, – озорно поклонился Митя. – Просим прощенья за наше угощенье...

– Ну тебя, барбоса! За такое угощенье надо штаны спущать да ремнем – по чему, сам знаешь...

Митя прячется за стол.

– Уй, боюсь...

Егор смеётся.

– То-то!

2

Световая газета с Пнем Колодиньгм так пришлась по душе лесорубам, что потребовалось повторить её несколько раз, пока не пересмотрели все жители Сузёма. И к каждому но-

вому показу прибавлялись новые кадры. Так, Митя изобразил на одном из кадров задравшую нос гордячку, пренебрежительно отвернувшуюся от комсомольцев-лесорубов. Зрители без труда узнали счетовода Валю, девчонку в жизни веселую и общительную. Ну, не ответила она толком на какой-то вопрос комсомольцам, наверно, неладно сделала, а так девка хоть куда.

Валя втихомолку поплакала от обиды, а когда слезы высохли, решила высказать этому Пню Колодину всё, что она о нём думает. Она высмотрела Митю на улице и пошла, будто случайно, ему навстречу.

– Здравствуйте, Пень Колодин.

– Здравия желаю, – козырнул, дурачась, Митя.

– Поговорить с вами можно?

– Всегда готов.

– Это я и есть Валя, задирающая нос...

Её серые глаза с укоризной смотрели на Митю. Ему стало неловко, почувствовал, что краснеет. И он промямлил:

– Совсем не похожа...

– Не похожа, а рисуете...

Митя не нашелся, как продолжить разговор. Шли рядом. Он искоса поглядывал на девушку и почему-то волновался. Она, пожалуй, не красавица. Простое лицо северянки, немного грубоватое, но улыбка такая хорошая, мягкая. Митя чувствовал себя виноватым и не знал, как загладить свою вину. Мучительно ища, что ей сказать, он выдавил через силу:

– Но факт-то был...

– Факт был, – просто подтвердила она. – Некогда было, очень торопилась... Нехорошо, конечно... Только уж так-то зло зачем? Неужели, думаете, заслужила?

– Понимаю, что... да... нет... Как же теперь исправить?

Митя окончательно смешался, с ужасом представляя, каким он нелепым и смешным выглядит в этот миг в глазах девушки. А у Вали от Митиного замешательства прошла вся обида. Парень-то он, видать, хороший, не со зла. Да и правда, факт был...

– Вы не волнуйтесь, – дотронулась она до его руки. – Я ведь не сержусь на вас. Вообще-то за дело... Ну, исправлюсь!

Прозвучавшее наивно, по-детски, это восклицание вывело Митю из замешательства. Он обрадованно вздохнул и сжал ей локоть.

– Вот и славно! Значит, объяснились...

Она высвободила руку, оглянулась.

– Ой, куда мы зашли?

За разговором они не заметили, как миновали поселок и шли по дороге бором. Пухлые шапки снега лежали на лапах сосен, окружавших небольшую поляну. От солнца снег искрился, и сосны казались загорелыми красавицами, нарядно одетыми к балу. А крепкий настой хвои в морозном воздухе заменял этим модницам духи. Бывают ли духи лучше смолистой хвои? Спугнутая белочка тряхнула ветку, снежная шапка осыпалась пылью, повисшей в воздухе. На мгновенье вспыхнула радуга. Валя захлопала в ладоши.

– Смотрите, смотрите, красота-то...

Возвращаться в поселок не хотелось.

– Давайте пройдемся ещё немножко, очень уж хорошо

А что, собственно, такого особенного хорошего? И сосновые боры, и пушистые снега, и зимнее солнышко, и все эти красоты для Мити и Вали не были ни новинкой, ни диковинкой.

Каждый день им приходилось видеть такие полянки, мало ли их в лесу. И не восхищались, не любовались, просто не замечали, как не замечают обыденное, примелькавшееся. А нынче заметили. И пришли в восторг. Отчего это?

– Отчего это радуга засияла в снежной пыли? – спросила Валя.

Митя с удовольствием стал разъяснять законы отражения светового луча и его преломления. Он, киномеханик, в этом не был профаном. Валя слушала и посмеивалась. Может, она и сама знала, что с таким увлечением растолковывал ей молодой человек, а может, сильно ученая его речь не очень-то понятной была для неё, и девушка усмешкой старалась скрыть это. Впрочем, Митя ничего не замечал. Он был в ударе.

Так они вышли на берег реки.

– Батюшки, река! Как далеко ушли, – спохватилась Валя. – А у нас сегодня профсоюзное собрание. Не опоздать бы...

Она повернулась и быстро зашагала обратно. Стараясь не отстать, Митя возмущался:

– И почему в выходной день устраивают собрания! Надо же дать людям отдохнуть...

Обратный путь оказался короче. На полянке солнышка уже не было. Сосны поскучнели, стали обыденными. Разговор на быстром ходу не ладился. И говорили о будничном – о нормах выработки, о членских взносах, о начислении заработка лесорубам. У крыльца конторы Митя пожал Вале руку.

– Как это я вас раньше не знал?

– Столь внимательны были.

Она с верхних ступенек помахала ему рукавичкой.

– До свидания, Пень Колодин...

Пусть найдутся люди, которые будут смеяться, а я всё-таки скажу по секрету, что в тот вечер в Митиной клеенчатой тетради появилось новое стихотворение. Конечно, о девушке со вздернутым носиком и серыми глазами, о бронзовых красавицах соснах в бальном наряде. Кто скажет: «банально», кто скажет: «сентиментально». Может быть. Молодость, что поделаешь!

Захлопнув тетрадь, Митя усердно рисовал карикатуры для новой световой газеты. Ему очень хотелось найти способ опровергнуть кадр с гордячкой, задравшей нос. Но придумать ничего не смог. Факт-то ведь был...

Глава седьмая
ПРИВОРОТНАЯ ВОДИЧКА

1

От одной тетки к другой под большим секретом передавалось об удивительной силе «квасниковой» воды, подарившей такого завидного жениха Паране. А вскоре об этом стали говорить открыто. И сама Параня не отрицала: что было, то было. Она даже не прочь и погордиться: не каждой девке случается удача. Егору, понятно, никто об этом не говорил. Но из намеков да экивоков и он стал что-то понимать. Потребовал от жены ответа. Она сперва чуть растерялась, виновато захлопала глазами, но под конец повернула дело так, что Егору и крыть стало нечем.

– Ишь, как я тебя, Егорушка, полюбила! Всей душой стремилась к тебе. И господь-бог помог. Али это худо? Мой ты стал со Христом, с духом святым...

Сосновские старики говорят: была бы погудка, найдется дудка. И верно, испытать чудодейственную силу «квасника» захотели многие. Не один парень порой удивлялся, отчего это

у него ни с того ни с сего стала мокрой рубаха. Иной жених, подписывая в сельсовете брачный документ, не знал, что привела его к этому столу родничковая водичка. А невесте казалось, что без той водички не сидеть бы ей рядом с желанным. Были и неудачи. Неудач было больше, чем удач. Но о них – молчок. Не корысть девке-вековухе кричать о своей порухе. И слава о родничковой водице росла. Со временем к «кваснику» стали прибегать и по другим поводам. Тот от трясцы стремился избавиться, другой выгонял дурную болезнь, третьей хотелось свести веснушки с лица. Исцеленных никто не видел, а утверждали, крестясь и божась, что исцеление было. Потом по всей округе пошла стоустая молва: ранней, мол, весной притащился к родничку парень на костылях, опустил ноги в ломотную воду и вылечился. Парня никто не видел и не увидит, а костыли, вот они, лежат, брошенные на снег. Попробуй сказать, что их не было! У «квасника» собрались верующие. С обнаженными головами они стоят, шепча молитвы и истово крестясь на костыли. Появляется Леденцов. В кустах од облачается в ризу, достает большой серебряный крест. Семён Бычихин, староста несуществующей церкви, прикрепляет к березе икону Парасковьи-пятницы. Харлампий зычным голосом поет ей канон[1], трижды осеняет темную воду родника крестом и, обмакнув в источник снопик метлицы, кропит костыли. Люди падают на колени. Харлам не жалеет голоса. Капли с кропила падают на икону. Одна крупная капля замерзает на щеке Парасковьи-пятницы под самым глазом. Бабы, увидев её, заголосили:

– Плачет, плачет...

Семен Бычихин снимает киот[2] с березы и, подняв его над толпой, несет. Вдруг какая-то вопленица взвизгнула:

– Православные, да ведь это наша Платонида!

– Святая мать, заступница!

А Харлам голосит тропари и кондаки[3] на всю окрестность без разбора, что придет в голову. Шествие направляется к старой часовне, превращенной ныне в склад.

Киот прибили гвоздями к стене над тем местом, где было выведено ярким суриком: «Курит Воз Прещаеца!» С Погоста, из Сосновки, из других деревень пришли любопытные. Всех заинтересовало, что там такое происходит, почему молебен в будний день.

Семен Бычихин поднялся на чурбашек. Заикаясь от непривычки и всхлипывая, рассказал собравшимся о чуде. Многие чувствительные женщины рыдали. Закончив речь, он стал истово креститься то на икону, то на костыли. Харлам грянул акафист. И тут толпа заволновалась, стала расступаться. Тихо опираясь на посох, шествовала Платонида, по-монашески укутанная черным платкам, строгая ликам и немножко скорбная. Она была удивительно похожа на икону Парасковьи-пятницы. И людей поражало это сходство. Слезая с чурбашка, Семён Бычихин поскользнулся и неуклюже плюхнулся на колени, ударясь лбом о землю. Платонида помогла ему встать.

– Матушка наша, праведная! – раздались голоса.

Платонида сурово погрозила посохом, обвела всех взглядом, перекрестилась и поклонилась так, что непонятно было – иконе или облупленному куполу старой часовни.

2

После сплава леса до генеральной запани Егор вернулся домой. Он не узнал своей избы. Вся передняя стена была сплошь увешана иконами. Тут висели резные кипарисового дерева

---

[1] Канон – церковное песнопение в похвалу святого.
[2] Киот – поставец для иконы.
[3] Тропари, кондаки, акафисты – церковные песнопения

киоты с тяжелыми чеканного серебра ризами на писанных маслом ликах, медные под финифтью окладни, почернелые от времени доски работы старых владимирских богомазов, дешевые олеографии с фальшивой позолотой, просто вырезки из дореволюционных божественных журналов и даже аляповатые самоделки базарных живописцев, быстро и ловко изготовляющих по желанию заказчика что угодно: любовную пошловатую сценку, настенный неимоверной яркости ковёр, пейзаж с озером, где на сизой воде плавают лиловые лебеди, или святых соловецких угодников Зосиму и Савватия, восседающих на скалах, окруженных облаками.

Вдоль стен вытянулись длинные столы, а на столах церковные книги в тяжелых кожаных переплетах с металлической отделкой и застежками: евангелия, псалтыри, часословы, требники, а рядом с ними тонкие замусоленные брошюрки в копеечном издании и с лубочными картинками: жития преподобных, мучеников, великомучеников, блаженных и прочая, проповеди столпов церкви, краткие описания святых мест: Соловецкой обители, Киево-Печерской лавры, Нового Афона, Саровской пустыни. И, наконец, стопка церковных календарей с пасхалиями[1], святцами и портретами высоких духовных персон.

Параня выбежала из кута и остановилась посередь избы в настороженном ожидании. На фоне церковного великолепия она выглядела столь странно, что Егор развел руками. Кофта с вырезом и короткими рукавами, юбка узкая, в обтяжку, с прорехами на подоле вдоль икр.

– Ишь, вырядилась, – сказал Егор, обошел жену стороной, потрогал на столе закапанные воском, пахнущие ладаном фолианты, оглядел иконостас[2], покачал головой, повернулся и вышел в сени. Там постоял и плюнул.

– Чёрт те знает что...

Возвратясь в избу, он сказал жене, показывая рукой на столы:

– Убери всю эту требуху! Обедать собери.

– Я тебе в куте соберу, Егорушко, – залебезила Параня. – Это ведь священное добро. Как же убирать?

– Да откуда ты набрала-то его, добра такого?

Параня помялась немножко, придвинулась к Егору, зашептала горячо:

– Сподобились мы, Егор. Благодать божья осенила нас. Ныне в нашей избе молитвенный дом. Синяков, ирод, не дал нам часовню, церкви нет, вот молитвенный дом и открыли у нас. Это божье изволение, Егорушко, десница его святая благодатная осенила нас.

Егор растерянно смотрел на жену. Он не знал, что ему – смеяться, сердиться или плакать.

– Это тоже десница? – скривил он улыбку, указывая на разрезы подола юбки.

– Ну и что! – подбоченилась Параня. – Неуж только городским можно, а нам нельзя? Нынче все так...

За зиму преобразилась не только Егорова изба. Пока мужчины находились на лесозаготовках, Платонида развила бурную деятельность. По её помыслам у «квасника», где обнаружились костыли, возник навес, а под навесом появилась железная кружка с висячим замком и сургучной печатью, вокруг «квасника» устроен сруб, на нем крючки, а на крючках черпачки. Приходи, пей, исцеляйся и опускай в кружку хошь медную, хошь никелевую, а лучше бумажную деньгу. Об этом шепчут «сестры» всем и каждому при встречах, особенно хворым, горестным и жаждущим добыть хорошего жениха. К «кваснику» проложена тропка, ходят туда люди, кто украдкой, а кто и въяве. Дважды в неделю Семен Бычихин отпирает

---

[1] Пасхалия – таблица для нахождения времени пасхи.

[2] Иконостас – стенка, каркас, куда ставятся иконы

замок на железной кружке и вытряхивает её содержимое в мешок. По воскресеньям утром служат молебен у часовни, где висит Парасковья-пятница, а вечером поют акафисты у «квасника». Во время этих служении производится сбор на тарель. А в будни то в той, то в другой деревне устраивают крестины – крестят не только новорожденных, но и больших ребят. За крещенье взимают по таксе, однако же превысить таксу не возбраняется, а наоборот, поощряется. Семен Бычихин, принимая даяния, не преминет сказать:

– Дающего десница не оскудеет. Не скупись, и тебе воздастся сторицей...

В блаженные, видать, устремляется мужик Семан Бычихин.

И в Платониде большие перемены нашел Егор. Она уже не лебезила, не пела масляным голоском. Стала она с ним суха и надменна. Голос звучал повелительно.

– Ты вот что, сосед, крыльцо-то у избы почини да покрась. Нынче у тебя не простая изба, а божий дом. Верующие ходят. Народ уважать надо...

Егора подмывало ответить ей грубостью, да сдержался. Сказал:

– За совет спасибо, соседушка. Крыльцо, правда, починки требует. А вот что избу мою в молельню превратили, так допреж хозяина спросить не мешало бы...

– Тебе же почесть великая, божеское соизволение...

Егор повернулся к ней спиной, стал колоть чурку. Попалась чурка свилеватая, неподатливая. Удар, второй, третий не взял её Егор рассердился, хватил со всего плеча. Чурка раздалась, топор по обух ушел в землю. Егор распрямился, поправил шапку.

– Моего соизволения не было, – сказал он. – Не было и нет. Вот. Скажи, Платонида, своим, чтобы унесли всё ваше...

Он поднял плаху от расколотой чурки, посмотрел – внутри была гниль. Ковырнул пальцем, оказал:

– Барахло...

Платонида поджала губы, величаво поднялась на крыльцо, резко стукнула дверным кольцом.

3

Параня не подпускала Егора к иконостасу и столам.

– Не дам! Не дам прикоснуться. Не тобой установлено, не тобой уберётся. Чего ещё выдумал – святые образа ему помешали...

Что с ней делать? Мужниного слова не слушает, гневного взгляда его не боится, знает, что пальцем не тронет, характер не тот. Ощерилась, как кошка перед прыжком, коготки навострила, того и гляди вцепится. Но и оставить так нельзя же! Будут тут ходить веяние ханжи да кликуши, сам не заметишь, как оболванят, сделают святошей, а то и юродивым, затянут в Платонидину компанию – жизни потом не рад будешь. Сумели же скрутить с Параней, побрызгали родничковой водой – и влип Егор. А тут хоть из собственной избы ноги уноси. Параня что, тигрица. Он не ожидал от неё такой прыти.

– Пальцем тронешь – глаза выцарапаю!

Егор не спеша подошел к висящей на стене сбруе, вытянул из седелка чересседельник, сложил его вдвое и с легким размахом погрозил супружнице. Она взвыла и, оглашая криками улицу, кинулась к Платаниде.

Сгрузив священное имущество в гуменную корзину, Егор стащил его на Платонидино крыльцо и гам оставил вместе с корзиной. Жена вернулась тихая, смирная. Только в глаза не глядела. Начала обряжаться, с Егором ни слова. Он выкинул в сени сколоченные из досок столы из-под церковных книг, в передний угол поставил обеденный стол с крашеной сто-

лешницей. Изба приняла обычный вид. Егор сел у окна. Подождал. Жена не опешила накрывать к обеду. Он сказал:

– Параня, собери-ка поесть...

Она набросила на столешницу скатерть, поставила солодку, принесла ковригу хлеба, ложку, нож, налила в блюдо щей. Сама не села.

– А ты что – сыта? – опросил Егор.

Она промолчала. Егор нарезал хлеба, посолил щи.

– Садись, ешь

В голосе мужа послышалось что-то такое, от чего Параня засуетилась, торопливо схватила тарелку и подсела к столу. Ели молча. Егор изредка взглядывал на жену. Она уставилась в блюдо и не поднимала глаз весь обед. Вставая из-за стола, Егор распорядился:

– Убери метлой паутину со стен. Вишь, накопилось. Да пол вымой, изобиходь избу...

Егор ушел чинить изгородь в поскотине. Параня не посмела ослушаться его. Пол она вымыла, паутину обмела, села у окошка. Хлопнула дверь в сенях. В избу ввалился Харлам. Он был в поповской рясе, с епитрахилью[1], висевшей косо, в шляпе, из-под которой вылезала грива волнистых волос, на концах свивающихся в кольца. Шелковистая, аккуратно окантованная борода и пышные усы совершенно изменили его. В поповском облике он выглядел внушительно. Но он был пьян, и шикарная его борода спутана, усы обвисли, мутные глаза бессмысленно блуждали. Параня ахнула.

– Батюшка! Да как же ты в такую пору? И грех с тобой, не в себе ты...

Хардам кинул сверток с крестом и кадилом на стол. Шатнулся.

– Параша...

Растопырив пятерню, он покрутил пальцами в направлении кровати.

– Спать хочу...

– Дурень! – рассердилась Параня. – Куда ты к кровати лезешь? А если он сейчас придет? Ведь и тебе и мне конец будет...

– Царствию твоему конец... Приготовь постель, Параша... Помолебствовал усердно... Сон долит...

Харлам с трудом сволок с шеи епитрахиль, скомкал и бросил под лавку. Стал снимать подрясник.

– Ой, что мне с ним делать? – заломила руки Параня. Обхватив размякшего попа поперек тела, напрягая силы, она вытащила его в сени, с великим усилием затолкала на поветь, заперла в чулан и закидала чуланную дверь чем попало, чтобы муж, вернувшись, не вздумал туда заглянуть. Поповское облачение она поскорее снесла к Платаниде.

– Что же мне, мать, делать? Распьянёшенек пришел... А мой-то изгородь поправлять отправился. Ведь вернется не за чем. Услышит храп в чулане, али тот спьяна голос подаст, пропали тогда...

Платонида рассердилась, заметала глазами огненные стрелы.

– Без соображенья да, окаянный! Вот проспится, дам ему...

Платонида задумалась, перебирая цепочку наперсного креста.

– Как же, однако, выпутаться? Ты вот что, увидишь в поле Егора – сразу же мне стукни. Я уж как-нибудь улажу...

Найдя решение, Платонида успокоилась.

– Ступай и глаз с поля не спускай.

---

[1] Епитрахиль – принадлежность священнического облачения, нечто вроде передника.

Глава восьмая

ТАЙНА СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ

1

Ефим Маркович жил тихо и незаметно. Вернувшись из дальних мест, он заехал в Сосновку только на денек, посидел с Платонидой в нетопленой горнице, сходил в баню и отправился в Сузём. Там нашлось ему дело около тракторно-ледяной дороги. С широкой лопатой ходил он по трассе, поправляя снежное полотно, ездил на бочке с водой, поливая санную колею. Тихий, исполнительный, всегда готовый к услугам, он понравился дорожному мастеру и начальнику лесопункта. Ему стали поручать более выгодные работы, отличать премиями и подарками, поселили в лучший барак, а потом дали и отдельную комнатушку. В свободное время Ефим Маркович занимался сапожным ремеслом. Оно было близким к его старому кожевенному промыслу: там кожа, и тут кожа. А заказчики не отличались большими претензиями, сапоги им нужны не для форсу. Требовали прочности, а не изящества. Ефим, зная толк в коже, умел и тачать. Нужны бродни – он сработает бродни, желаете ботинки – пожалуйста. Правда, на танцы в них, может быть, и не всякий решится идти, а по лесу бродить можно, хоть в дождь, хоть в слякоть – воды не пропустят, не забывай лишь обильно смазывать дёгтем. А с наступлением зимы несут в починку валенки. И опять, как пожелаете: с кожаной обсоюзкой, с подмёткой, а то и с полными накладными головками. Получаются при этом не валенки, а бурки, теплые и при сырой погоде прямо незаменимые. Начальство радо: стихли требования открыть сапожную мастерскую. Доволен и Ефим Маркович: таксы казенной нет, мастер один-единственный, не хочешь – можешь не приносить.

К следующему сезону на краю поселка появился домик, небольшой, да крепко сколоченный, обнесенный частоколом. На калитке надпись: «Цъпная собака». Васька Белый, прочитав эту надпись, радостно смеялся.

– В самую точку. Все будут знать, кто тут живет...

А сапоги в починку по весне всё же принес. Ефим Маркович сказал:

– Достань соленой трески, живо подобью подмётки.

В ту пору в лесных лавках долгое время не было рыбы. А северный мужик без трески плохо себя чувствует, люби ею осолониться. Васька обещал добыть трески. Когда сапоги были готовы и Васька пришел за ними, Ефим Маркович посмотрел на него одним глазом, устремив другой на окно, и спросил:

– А треска?

– Вот, ей-богу, Ефимушко, сбегаю в воскресенье до пристани, возьму на пароходе в буфете. Далеко ли сбегать-то, пустяк, километров тридцать будет ли...

– Сбегаешь, тогда и сапоги получишь.

– Да как босиком-то, Ефим? В уме ли ты? Еще ледянка не растаяла, на дорогах снежница, простужусь...

Ефим Маркович тихо взял из Васькиных рук сапоги, сунул их под лавку. Стал вкручивать в дратву щетинку. Глазом кольнул Ваську.

– Будет треска – будут сапоги.

Васька помялся-помялся, повздыхал-повздыхал и ушел ни с чем. А в воскресенье он в старых валеных опорках зашлепал по сырой весенней дороге через лесные полноводные ручьи, по болотинам и мочажинам к пристани. На его счастье, рыба в буфете оказалась. Он принес сапожнику здоровенную рыбину, держа её за хвост, шлепнул со всего маху на стол.

– Давай сапоги!

Ефим безмолвно вручил сапоги, а когда Васька ушел, сказал:

– Ничего трещёчка дородная...

В домик к Ефиму перебралась из деревни жена. Изредка стала к нему наведываться и Платонида. По вечерам слышался иногда рык отца Харлампия. Зачастила к Ефимовой супруге в гости Анфиса. Да и Параня подчас появлялась на улицах поселка. Говорят, она чаще ночевала не у мужа, а в том же домике на окраине. На это не обращали внимания: мало ли кто к кому ездит и кто у кого ночует.

2

После ссоры Егора с женой из-за церковной утвари их отношения совсем расстроились. Параня не проморгала тогда прихода мужа с поля, вовремя предупредила Платониду, и та сумела отвлечь его внимание, затеяв длинный разговор о божественном. Весь вечер настойчиво и терпеливо поучала она Егора, наставляя его в вере Христовой. Он сначала не обращал на нее внимания, ужинал, медленно и обстоятельно резал хлеб длинными тонкими ломтями, прижав к груди ржаную ковригу, солил суп, тщательно размешивая соль в блюде ложкой. Казалось, Платонидины наставления не касаются его ушей. А она зудила и зудила, как неотступная муха. Бережной не выдержал:

– Уймись-ко, Платонида, всё равно без пути звенишь. Не маленький я...

– Да ты хуже маленького. Дитя ты настоящее. Совсем безбожникам поддался, они из тебя веревки вьют. Митя твой то и знает, что громит бога. А чего он понимает? Где у него умишко? Материно молоко ещё на губах не обсохло. А ты ему в рот заглядываешь...

– Ну, дай бот, чтобы такой умишко у всякого был...

– Я не про то говорю. Пущай башковит, он, верно, башковит. Только не в ту сторону башка клонится. И почто ты слушаешь безбожные охулки, Егорушке? Зачем изгоняешь храм божий из своей избы? Одумайся! Радоваться бы тебе да бога славить...

Егор и хотел бы заставить Платониду замолчать, да как? Не проймешь её ни здравым словом, ни бранью. Чем больше возражай, тем дольше будет зудить. Он слушал-слушал, натянул кепку и хлопнул дверью. Платонида, скосив губы, заморгала Паране. Та высунулась в открытое окно, крикнула обиженным голосом:

– Куда ты, на ночь глядя, Егор? Не сидится тебе дома...

Не расслышав, что он ответил, закрыла окно и сказала:

– Слава тебе боже, унес черт...

– Придется уж мне сегодня у тебя ночь бодрствовать. Ежели вернется, так быть начеку, – сказала Платонида зевая.

Она принялась за вязку, лениво перебирая проволочными спицами. Кивнула.

– Сходи-ка проведай, как он там, батюшка-то, будь он неладен...

3

– Что такое с Григорием? – раздумывал Паша Пластинин, наблюдая за членом своей бригады Фереферовым. Изменился за последнее время парень, стал нелюдимым, задумчивым. И на работе сторонится товарищей, старается держаться особняком. Несколько раз Паша пытался с ним заговаривать, выяснить, какая беда с ним приключилась, но толку не добился. Улыбнется Гриша кротко, застенчиво, опустит плаза долу. «Женихаться, может, пора парню», – подумал Паша и оставил его в покое. А тут ещё бригадира вызвали на совещание в область. Возвратясь, Пластинин узнал, что Гриша болен. Что с ним? Говорят, лежит весь в

жару, бредит. Паша в тот же дань поехал в Сосновку навестить товарища. Он застал его в тяжелом состоянии. Парень еле узнал своего бригадира, а узнав, забормотал что-то странное и закрестился. Паша вопросительно посмотрел на Гришину мать, склонившуюся над кроватью. Она жалостливо вздыхала, поправляя подушку. Гриша заметался, скинул одеяло, приподнялся на локтях. И Паша, не веря своим глазам, увидел сквозь разрез сорочки на Гришиной шее серебристый крестик на медной цепочке.

Как и большинство сосновских ребят, Гриша Фереферов не был верующим. Хотя в комсомоле он и не состоял, но давно потерял веру в бога, в церковь не ходил, никаких церковных обрядов не исполнял. Почему же и как появился крестик на шее? Ломая голову в догадках, Паша с грустью смотрел на разметавшегося на постели товарища.

– Врач был? Какую болезнь признал? – опросил он Гришину мать.

Её ответ ошеломил.

– Почто врач? Отец небесный, заступник наш, сохранит и помилует. Святая великомученица Парасковья заступится.

Паша, не говоря ни слава, направился к председателю колхоза, выпросил лошадь и поехал за врачом. Выяснилось, что у Гриши крупозное воспаление легких. Доктор опрашивал, где мог Гриша подхватить такую болезнь в летнюю пору. Мать молчала и крестилась, шепча молитвы. Так от неё ничего добиться и не могли. Уж потом стало известно, отчего захворал Гриша.

Долго и обстоятельно обрабатывали парня церковники. С помощью матери они старались обратить его в лоно Христовой церкви. Запугивали женщину тем, что, если и её сын останется неверующим, на том свете его ждут страшные адовы муки, а при втором пришествии Христовом он не сможет из-за своего смертного греха стать одесную[1] царя небесного. Сын сначала смеялся над материными увещеваниями, но потом постепенно всё больше и больше стал им поддаваться. На помощь матери Птатонидиными наперсницами была направлена девушка, на которую Гриша начинал заглядываться. И парень в конце концов не устоял.

Платонида сказала:

– Надо парня крестить.

– Он крещеный, матушка...

– Что крещеный! Яд безбожия вытравил из его груди старую бтагодать. Только новое крещение исцелит душу грешника. Крестить надо. И другим пример будет...

4

В жаркий летний день у «квасника» собрался весь Платонидин синклит. Голосили певчие, Харлам усердно размахивал кадилом, и запах ладана наполнял воздух в странной смеси с ароматом лесных цветов. Гриша голый, ни жив ни мертв стоял у края «квасника». Ему стыдно было взглянуть на окружающих, среди которых, он знал, находилась и его девушка. Харлам трижды погрузил крест в воду родничка, трижды прогремел крещенский тропарь. Узловатыми пальцами Харлам взял Гришу за плечи и заставил его окунуться в «квасник». Трижды Гриша опускался ко дну, откуда била ледяная струя. Он весь посинел и, одеваясь, дрожал так, что не попадал зуб на зуб. И до конца крещенской церемонии его нещадно трясло. А придя домой, почувствовал жар и вынужден был слечь в постель.

Паша из сельсовета позвонил в райком Мите. Потом он побежал к Платониде, разъяренный и возмущенный. У порога его остановила Параня.

– Матушка почивает, будить её не дозволено...

[1] Одесную – по правую руку.

– Вашу матушку я вот стащу с постели и задам ей...

– Ты, дитятко, не хорохорься. Есть дело, так скажи и уходи с богом.

– С богом! Угробили парня...

В дверях горницы показалась Платонида. Глядя куда-то поверх Паши, она осенила то место, где он стоял, крестным знамением, произнося

– Сгинь, сгинь, пропади... Свят, свят, свят...

Паша шагнул на середину избы. Отмахнулся от Платонидиных крестов.

– Перестань придуривать. Ты мне дай ответ: почему угробила парня? Взрослого человека крестить да еще в мочажлне, в ледяной воде! Рехнулась ты, что ли?

Платонида скорбно приклонила голову, зашептала громким шепотом:

– Боже милостивый, прости ты ему его еретические слова, не ведает бо, что глаголет. Вразуми его, спасе мой, просветли ум падшего, потерявшего веру...

Она порылась в поставце у божницы, вынула крестик и протянула его Паше

– Образумься, прими. Облобызай его и носи со господом...

Паша сказал крепкое слово и хлопнул дверью. Платонида погрозила вслед ему кулаком.

– Извести, извести вас надо, адовы исчадия...

Состояние Гриши Фереферова день ото дня ухудшалось. Дышал он тяжело, с хрипом, часто впадал в беспамятство. Дело осложнялось тем, что мать, сбитая с толку Платонидой, продолжала противиться врачебной помощи, не хотела выполнять докторские назначения, а кропила сына «святой» водицей» поила его с уголька, шептала наговоры. С приездом Мити комсомольцы решили отправить Гришу в больницу. Мать и этому воспротивилась. Никакие уговоры не действовали.

5

Сосновская молодежь взволновалась, прослышав о крестинах Гриши Фереферова. Без всякого зова, один по одному ребята пришли в сельсовет. Синяков удивился нежданным гостям.

– У вас что, собрание?

– Нет, Федор Иванович, так пришли.

– На посиделок, что ли? Так уж вы бы топали лучше к девкам. В сельсовете-то они не водятся...

– Мы, товарищ председатель, не в сельсовет, а в парторганизацию.

– Секретарь созывал? Тогда посидите, придет, значит...

– Федор Иванович, вы ведь тоже партийный... Гришку-то спасать надо, погубят парня...

Ребята рассказали Синякову о крещении и болезни Гриши Фереферова, об отказе его матери отправить сына в больницу.

– Да, отмочили фокус-мокус. Выбрали время, когда весь актив в область укатил... Вот ерунда какая! – расстроился Фёдор Иванович

Он вышел из-за стола, походил вдоль половицы. Половица лежала неровно, покачивалась. Перешел на другую. Постоял, глядя на ребят, подумал.

– Тут, братцы, мы с вами прошляпили, – сказал он медленно, отделяя слово от слова паузами. – Не одного Гришку прошляпили, вот в чем беда. Его надо вызволить, это верно. Придет Никита Васильевич, посоветуемся с ним по партийной линии. Найдем пути, я думаю. Увезти надо Гришу в больницу – первая задача. Вырвать его из Платонидиных восковых ручек – вторая. Но и это не всё. Ежели до Гришки добрались, сумели его опутать и сбить с панталыку, ежели начали женихов в «кваснике» купать, значит, нам с вами оплеуха, да и креп-

кая. Близоруки выходит... Вот так! Пашка-то Пласиинин знает? Митюшке не сообщали?

Назавтра Синяков вместе с секретарем партийной организации Никитой Васильевичем и с Митей Бережным пришли к Грише. Он был в полном беспамятстве. Мать, как и ранее, наотрез отказалась отправить сына в больницу. Её убеждали, доказывали, что она своим упрямством погубит парня, – женщина стояла на своём. Синяков попытался даже подействовать административной властью – не помогло. Тогда решили установить у постели больного дежурство. Дежурных обязали строго выполнять все врачебные предписания и ни в коем случае не допускать никаких знахарских обрядов над больным.

Слух о Гришиной болезни разошелся по деревням. Большинство колхозников возмущалось Платонидвным поступком. Были такие, кто осуждал самого Гришу.

– Эдакой детина полез в «квасник»!

Но были и такие, кто находил в этом божие произволение. Платонидины послушницы не сидели на месте, их языки расписывали событие по-разному. Одни говорили: бог наказал за то, что забыл парень веру. Другие толковали: подвиг совершил парень во славу Христову. По словам третьих получалось, что Гришина болезнь – это испытание его духовной стойкости. Коммунистам и комсомольцам, когда они пошли по деревням, было трудно. Платонидины чары проникли в сознание многих. В иной избе весь вечер шли опоры, а когда беседчик уходил, вслед ему крестили дверь.

Глава девятая

КЛЮЧ ОТ ОБЩИННОЙ КАЗНЫ

1

Леденцов, трезвый, в обычной гражданской, а не поповской одежде, в поздний час заглянул к Платониде. Он явно струхнул, поняв, что в своём усердии они со святой матерью зашли слишком далеко. И духовную наставницу он предполагал встретить в расстроенных чувствах. Ему хотелось совместно с ней, не откладывая в долгий ящик, искать выход из трудного положения. Каково же было его удивление, когда вместо обычной радушной встречи его ждали громы и молнии.

– Ты пришел? – набросилась Платонида, едва он переступил порог. – Знаю, зачем явился. За Платонидиным заступничеством? Хочешь, чтобы твою пьяную харю я ограждала крестом и молитвой? Али на меня всю вину свалить желаешь? Не выйдет! Сам нашкодил, сам и затирай. Не я Гришу в «квасник» толкала, ты...

Харлам стал бурым, как свекла. Ему захотелось взять эту сухую, тощую старушенцию за шиворот и тряхнуть по-настоящему. Но благоразумие взяло верх. Куда ни кинь, а преподобная связана с ним, отцом Харлампием, крепкими узами. Их невозможно разорвать, не навредив себе. Так надо сдержаться. Она в ярости болтает ерунду поостынет – всё уладится.

– Матушка, за что ты лаешь на чадо своё? – пытаясь взять привычный тон, сказал Леденцов. Это на неё не подействовало.

– И лаю и лаять буду. Нечего тебе ко мне подлизываться. Хватит, я повозились с тобой.

Леденцов переменил тактику.

– Дородно! Ты меня прогонишь. Ладно, хорошо. Возьмут Леденцава на цугундер, пропишут ему ижицу. Хорошо, дородно! А Платонида-то что, доннер веттер, так и останется в сторонке? Она святая, она ничем не замарана. Думаешь в райских кущах сидеть, очи горе возводить и воздыхать: «Очисти мя, спасе, по великой милости твоей». Не выйдет, Платонида, не на того нарвалась. Харлам Леденцов не агнец кроткий, не подставит шею под закла-

ние. Нет! Вместе нам, Платонидушка, открещиваться от нечестивого, пойми ты, дура всеблаженная!

Черный полушалок свалился с головы Платониды, она не заметила. Жидкие волосы, заплетенные в тощие косицы, смешно топорщились. На восковом её лице отразилось такое смятение, что Харлам расхохотался. Платонида истово перекрестилась, что-то шепча, осенила крестным знамением Харлама.

– Аминь, аминь, рассыпься...

– Не рассыплюсь, майн мутер, не из того теста сделан, – рыкнул Харлам, скаля зубы. – Давай-ка садись и побеседуем мирком да ладком, с господом да со Христом...

Платонида села. Харлам, подобно галантному кавалеру, подхватил с полу полушалок и накинул на старушечьи плечи.

2

Обо всём договорились, как надо. Недаром оказывают, что ворон ворону никогда ещё глаза не выклевал. Платонида стала прежней, ласковой к Харламу. Только морщина на восковом лбу выдавала затаенную тревогу.

– Ну, иди, Христос с тобой, – выпроваживала Платонида гостя. – Всё сделай так, как я сказала. Главное, достань бумагу со штампом и печатью. Приласкай покрепче, потискай горячее Анфису, и уж она тебе хоть сто печатей достанет. Льнут же к тебе, ей-богу, бабы, Харлам... И чего у тебя такое скусное?..

– Попробовала бы сама, узнала, – заржал Леденцов.

– Угомонись, экой нехристь! – сердито оборвала Платонида. – Хоть старухе-то бы постыдился такое говорить.

Выйдя на крыльцо. Харлам услышал крики у колодца. Что там такое? Вот тебе раз! Параня честит Макору, ругмя ругает, обзывает такими словами, что даже колодезный журавель, кажись, от этого покачивается со скрипом. Макора, наклонясь над колодцем, тянет бадейку, отворачивая от крикливой бабы пунцовое лицо, а та не унимается, встала так, что загородила проход, уставила руки в боки, голосит на всю улицу, даже в противоположном конце начали открываться окошки и высовываться любопытные головы.

– Мужик тебе мой нужен, вьешься за ним, увиваешься, чуть на шею не вешаешься. А не видать тебе его всё равно. Неуж он променяет меня, экую кралю, на тебя, пигалицу? Что в тебе, ну что в тебе? Ни там ни тут, рожица одна да высокие каблучки. Тьфу! На высоких-то каблучках и мы нынче умеем ходить не хуже вас, поселковых... Попробуй только ещё на него зыркать, я не постесняюсь, хребтину тебе намну, изобихожу...

Макора налила ведра, подняла их на коромысло. Пошла по тропинке, Параня не пропускала, стояла посредине дороги.

– Глупая ты... Прекрати голосить, – оказала Макора, надвигаясь на соперницу. – Пусти!

– А вот не пущу! А вот не пущу! – Параня широко расставила ноги, махала руками. – Не пущу, стой тут да слушай. Пусть неповадно будет к женатым мужикам присватываться... У него есть жена, не тебе чета, видишь какова...

Тут Параня избоченилась. Леденцов не выдержал, крикнул:

– Сладка!

Параня так и застыла в вызывающей позе. Леденцов раскатисто хохотал. Эту сцену увидел Егор, он шел с поля.

– Что тут такое?

– А то! – взвизгнула Параня. – Твою хахальницу просвещаю, учу её уму-разуму...

– Отойди-ка, – негромко сказал Егор. – С дороги отойди...

– А не отойду! Давно я хотела до неё добраться, всё не удавалось. Нынче уж потешу душеньку. И ты не заступайся, кобель! И тебе глаза выцарапаю. Хватит, намиловался с ней там, в лесу... Настало моё время.

Из Параниных уст снова полилась неудержимая ругань, распалившая себя ревнивица старалась подбирать самые стыдные слова, от которых могли повянуть не только девичьи уши.

– Отойди, – повторил Егор. – Закрой хайло.

Параня не унималась. Тогда Егор легким движением локтя толкнул её, да, видно, не рассчитал силы. Жена, будто щи пролила, упала Она заголосила что есть мочи.

– Убивают! Спасите, люди добрые!

Егор виновато смотрел на Макору, когда она с вёдрами на коромысле проходила мимо него.

– Не ори, чего народ смешишь, – бросил Егор жене. – Встань...

Он тронул её носком сапога. Параня продолжала валяться в пыли. Егор махнул рукой, зашагал к дому. На Платонидином крыльце он увидел Харлама. Тот скалил зубы.

– Горячая у тебя, Егор Павлович, супруга. Дала жару...

Егор ничего не ответил, скрылся в сенях. Параня, видя, что муж ушел, встала отряхнулась от пыли, игриво зыркнула глазами на Харлама, притворно завздыхала.

– Прости, спасе милостивый, прегрешения наши...

– Аминь, – весело подтвердил отец Харлампий. – Приходи на исповедь, отпущу все прегрешения...

Он блеснул зубами из-под пышных усов, расправил бороду, зашагал по деревне.

3

Синяков постучал в окно к Семену Бычихину.

– Зайди-ка, Бычихин, в сельсовет. Разговор есть.

Семен пришел.

– Ты, говорят, у них старостой состоишь, Бычихин? – спросил Федор Иванович.

– Старостой, да...

– Божьи манатки хранишь, стало быть...

– Ты бога, товарищ председатель, не трожь... Он сам по себе. А священное имущество и церковные доходы в моём попечении, верно.

– Церкви нет, а доходы есть. Ловко у вас получается...

– Верующие радеют, Сивяков, ловкость ни при чём, – солидно поправил староста.

– Ну, ладно. Я не диспут с тобой устраивать собрался. Где вы берете доходы, дело не моё. Но обманным путем вымогать деньга у темных людей никто вам не позволит. У «квасника» денежный ящик установили, у корявой сосны, того гляди, установите. Мало ли где ещё можно доходное место облюбовать. Были бы глупые, доходы будут. На пропой Харламу мало ли надо... Вот что, Бычихин, прекратить надо поборы. Понял? А то тебе отвечать придётся. Далее, чтобы полный учёт всех доходов был. Налог будем брать. Утаите – по головке не погладим...

– Да что ты, председатель, за жулика меня нешто считаешь, – возмутился Бычихин.

– Тебя я за жулика не считаю, а что вся ваша бражка на жульничестве замешана – это факт. И ты, смотри, пропадешь в той компании благочестивой. Жалко мне тебя, мужик-то ты стоящий, не вертопрах какой...

– Спасибо, Федор Иванович, на добром слове, – степенно поклонился Семен. – Но жалеть тебе меня не приходится. Мы с тобой на разных лавках сидим. Ты безбожник, я тебе в том не перечу, твоё дело. Не хошь в рай – силой не тяну. И меня ты не неволь. Я со Христом родился, со Христом и умру. А добро у меня всё на учете, под замком хранится, можно проверить...

– Проверять мне тебя нечего, а верующие могут и проверить...

Бычихин уходил из сельсовета размеренной походкой уверенного в себе человека. У него своя голова на плечах, и нечего председателю Синякову учить его уму-разуму. В вере своей Семен был тверд и непоколебим. Она не была у него показной, как у многих. Не внешними побрякушками, крестами да молитвами проявлял Семен свою веру, а духом, нутром души. Проходя мимо старой часовни с иконой Парасковьи-пятницы, Семен остановился, положил нужное число поклонов, ворча:

– За всю жизнь Семен Бычихин нечестной копейкой не прельстился, с чего это Федюня на меня подозренье наводит... Прости его, великомученица Парасковья, заступница грешных...

4

Весь день Семен тесал бревна для нового телятника. Свежепахнущий штабель сосновых брусьев желтел на пригорке. Первый венец стен был уже заложен. «В экую хлевину много телят уместится, – думал Бычихин, поглаживая бороду во время передышки. – Поди, у помещика и то раньше не водилось столько. Да кто их знает, помещиков, в наши края они не забирались, никто не видал, какие у них хлевы строились». Тесал Семен бревна с охотой. Вечером, сделав последний затес, вытер пот со лба.

– Хватит, пожалуй...

Не спеша пошел домой. Проходя по задам мимо амбара с церковным добром, вспомнил предупреждение Синякова, подумал: «Береженого и бог бережет. Надо, чтоб не случилось лиха, поберечься. Добавочный замок повешу, всё надежнее...»

Дома разыскал на подволоке полупудовый заржавленный замок. Раньше им запирались ворота на паперть ныне разрушенной церкви. Огромный ключ еле, со скрипом ходил в скважине. Семен капнул в скважину скипидаром. Ключ пошел ходче.

Замочная скоба с трудом вместилась в петли пробоев. Замок не висел, а торчал на амбарочных дверях.

– Вот так запор! Больше амбара...

От неожиданности Семен вздрогнул, стал оглядываться и не мог увидеть крикнувшего. Он часто закрестился, подумав, что это голос нечестивого. Из-под амбара высунулась голова Васьки Белого.

– Не бойся, Семен, я не некошной[1]... Крестиками меня не отгонишь...

– Да чего ты там, окаянный, делаешь? Испужал до смерти...

– Червячков, вишь ли, копаю. Они тут в глине под амбаром жирные, для рыбак будет скусное кушанье...

Васька присел на рундучок, достал кисет. Мастеря цигарку, кивнул на замок.

– Крепкого сторожа-то поставил. Небось добра много в амбаре?

– Како добро! – равнодушно пожал плечами Семен. – Так, думаю, надежнее...

– То верно, – согласился Васька. – Замок амбара больше, как не надежнее... Сохранит. От Харламка, от попа, поди, затираешься? Он мужик не промах...

[1] Некошной – нечистый, дьявольский.

– Не лопочи, – рассердился Бычихин. – Какой бы он ни был, а ныне священная особа, сам владыка его рукоположил, архиерей... А ты такие слава.

– Так я не про владыку, чего ты мне проповедь читаешь! Да и владыка, видно, хорош, ежели на Харламка, на пьяницу и блудника, руку положил.

– Грех тебя слушать-то... Тьфу!

Семен, не удостоив Ваську кивком, зашагал прочь. Огромный ключ, подвязанный к поясному ремню, болтался у него на боку, как сабля. Васька смотрел старосте вслед и прихохатывал один, втихомолку.

Глава десятая

КАРТУЗ НА МОСТУ

1

Утро было тихое-тихое. Васька Белый с удилищами на пледе спускался с высокого косогора, шлепая голыми подошвами по утоптанной тропке. Над прудом подымался и таял клочковатый туман. Березовая изгородь, кусты ольхи и остов старой мельницы светились, будто обрызганные серебром. Вдоль речной поймы потянул первый ветерок. Васька радовался хорошему вёдренному утру и предвкушал великое удовольствие подремать над спокойным и недвижным поплавком. В пруде рыбешка водилась, но Васька без особого азарта относился к улову. Для него было не столь важно, клюет ли рыба: самому поклевать на вольном воздухе важнее. Он запасливо прихватил с собой добрый клок сена, чтобы сидеть на мостовине было мягче. Выбрал удобное местечко, поставил на балку ведерко, жестянку с червями, размотал леску, (насадил на крючок жирного червяка, поплевал на него и размахнулся, чтобы закинуть. В это время взгляд упал на необычный предмет, валяющийся на мосту.

– Картуз... Чей это?

Васька встал, пошевелил картуз ногой, перевернул его.

– Фу ты, согрешенье! Картуз-то ведь Сенькин... Сеньки Бычихина картуз... Как его угораздило потерять? Пьян небось был...

Раздумывая над тем, где бы это мог Семен Бычихин вчера напиться, Васька закинул удочку, укрепив удилище между мостовинами. Легонько всколыхнутая поверхность пруда опять спокойно застыла, отражая наклонившиеся над водой сваи, прибрежную осоку. Поплавок лежал недвижимо, будто нежась на речной глади. Васька смотрел на него неотрывно, пока не слиплись веки. Он сладко задремал и в тихом сновидении ясно увидел, что поплавок дрогнул и пошел. Васька схватил удилище. Оно выгнулось, леса натянулась, как струна. Васька усиленно заморгал глазами, дабы прогнать дрему. Дрему прогнать удалось, а вот вытянуть удочку не удавалось. Неужели такай большая рыба? У Васьки даже захолонуло под ложечкой. Вот хватит порассказывать! Но удочка засела прочно. Ворча и чертыхаясь, Васыка закатал штанины, разыскал длинную жердь и, забредя по колено в воду, стал тыкать жердью в дно. Наверно, коряга какая затонула, лежит на дне. Конец жерди за что-то зацепился. Васька ещё немножко забрел, пытаясь разглядите, что там такое. В темной глуби ему почудилось бородатое лицо. Васька перекрестился и кинул жердь. Выскочил на мост. С моста ясно виделась в воде фигура человека. Васька с криком побежал на Погост, к сельсовету.

Из пруда извлекли труп Семёна Бычихина. На виске у чего зиял лиловый синяк. Рубаха была изодрана, а рот забит мукой.

Васька Белый весь дрожал и твердил следователю, мешая ему составлять протокол.

– Картуз увидел, думаю зачем тут Сенькин картуз? Не иначе пьяный шел, обронил... А

он, на тебе! В пруд за каким-то чудом полез. Ты, товарищ следователь, удочку-то мне отдай, хорошая удочка, жорная... На неё и окунь, и елец, и шаклея, и всякая иная рыба, не говоря уже о пескаре, идет, хватает даже без наживки. Ей-богу, не вру...

Следователь отмахнется от Васьки слева, тот перебежит направо и опять начинает расхваливать достоинства своей удочки. До того надоел, что следователь, наконец, не в шутку рассердился.

– Умолкнешь ты или нет! Вот посажу в холодную, так объясняйся...

Васька сразу замолчал, отошел в сторону, пригорюнился. А и впрямь посадит, такой сердитый. Удочки не хочет возвратить, говорит, что доказательство. А какое же доказательство удочка? Не удочка Сеньку утопила, она за утопленника зацепила. Тут-то, может, и загвоздка. Обвинят вот тебя, Васька Белый, в утоплении человека, что ты будешь делать? Приуныл Васька всерьёз.

А следователь ломал голову над догадкой, как попал Семён Бычихин в старый мельничный пруд.

2

Семен Бычихин попал в труд не по своей охоте. Затянул его туда ключ от Платонидиного амбара, где хранилось церковное добро. Там, в глубоком сусеке, под слоем ржи, сберегались и деньги. Не раз и не два разрывал Семен рожь, чтобы прибавить к завёрнутому в обрезок старой поповской ризы новую пачку бумажек. Туда поступали не только приношения прихожан, но и доходы, невесть каким путем доставаемые Платонидой и Харламом. Семен не спрашивал, откуда они, он слепо верил Платониде и полагал, что всякое деяние, ею осененное, есть благо. Доходы копились и копились, пока не пришлось обрывок ризы заменить старой плащаницей. Платонида тоже была твердо уверена в бескорыстности Семена и его послушании.

И вот Платонида распорядилась: выдать все деньги ей и Леденцову поровну. Семен почесал в затылке.

– Ладно ли, матушка...

– Что ладно ли?

– Так эти деньги прихода, а не твой собственные. Одного-то твоего слова вроде мало...

У Платониды запрыгала нижняя челюсть. Она хотела крикнуть, но крика не получилось, вырвался визг. Преподобная затопала ногами.

– Ты смеешь перечить мне, каиново отродье! Да я тебя прокляну, предам анафеме...

– Ты вольна проклясть маня, матушка, а денег я без ведома верующих не выдам.

С тем и ушел. Тяжелую ночь провел староста, молился богу, просил просветить и наставить. Просветления не наступало, а мозг сверлила одна мысль: «Раз она святая, Преподобная, зачем же ей деньги? Зачем она хочет забрать принесенное верующими богу?»

Ответа Семен не находил.

На другой день Платонида снова позвала Бычихина. Она была светла лицом, ласкова, приветлива. Стала угощать Семена чаем. Сама наливала ему кружку, придвигала, кланялась.

– Пей-ко на доброе здоровьицо, Семенушко. Ты бы в гости ко мне приходил о празднике. Чего не приходишь-то? Нам с тобой в дружбе надо жить, одному мы богу молимся, Христу-спасителю, царю небесному.

Бычихни пил чай, слушал Платонидины приветы, а про себя думал: «Не к добру это, не к добру». В уме Семен решил не поддаваться на улещивания, быть твердым, как апостол Петр.

Пака чаевничали, пришел Леденцов. Обрадованно загрохотал басом. Вытащил из глубо-

кого кармана рясы бутылку. Заглянул в Семенову кружку.

– Выплесни ты, Семен, эту бурду. Удовольствие пить чай! Мы сейчас нальем той самой, кою и монаси приемлют...

Без лишних церемоний он вылил чай из Семеновой кружки в лохань, наполнил кружку водкой.

– А тебя, матушка, ублажить ли?

– Ублажи, ублажи, батюшка...

Поговорили о том, о сём. Платонида умело перевела разговор на старое – об амбаре под Семеновым замком. Харлам, будто не знавший до сих пор ничего, изумленно воскликнул:

– Не даешь? Платониде, заступнице нашей? Да ты в уме ли, Семен!

У Бычихина покраснели веки, на губах заблуждала пьяненькая ухмылка.

– В уме, батюшка. В полном уме...

– И не дашь?

– Нет, не дам.

Харлам перемигнулся с Платоиидой, скривил губы. Налил ещё кружку Семену, подбавил себе. Стал рассказывать, как он ездил сегодня с требой в Паршин Прислон. Потом поговорили о том, что, если сушь еще продержится с неделю, не худо бы по полям с молебном пройти. Харлам опросил Бычихина, много ли тому выдали авансом в колхозе. Получив ответ, замотал гривой.

– Немного, немного... да... У тебя семья, жить-то надо... Мы ему из тех сумм отпустим? Как ты думаешь, матушка?

Платонида согласно склонила голову.

– Отпустим, как же! Я об этом раньше думала...

– Пойдем, Семен, в амбар. Ключ-то при себе?

Харлам уже не спрашивал согласия, он распоряжался.

Семен набычился.

– Нет уж, и тысяч мне не надо...

Харлам резко встал.

– Мало тебе? Возьми больше. Черт с тобой, не разоримся. Пошли!

– Не командуй, отец Харлампий, ты не ферфебель, я не солдат.

Бычихин натянул картуз, пригладил бороду.

– Прощайте-ко, благодарю за угощенье...

– Ты куда? – Леденцов схватил его за плечо. – Уйти хочешь? Врешь, не уйдешь. Давай ключ!

– Пусти!

Бычихин рванулся к выходу. Поп, скинув рясу, за ним. Крылечная дверь оказалась на заяоре. Семен кинулся на поветь. Поп – следом. Там загрохотали доски, глухо стукнула гиря. Оглушенный Семен снова выскочил в сени и метнулся в открытую дверь избы с намерением выпрыгнуть в окно. На пороге его встретила Платонида, сыпнула в лицо горсть муки. Бычихин упал. Подоспевший поп сел ему на голову. Семен судорожно забился. Платонида прижала его ноги, чтобы не стучали по полу.

Леденцов забрал ключи. Деньги и ценности, что хранились в амбаре, сгрузил в чемоданы. В ту же ночь лесом ушел на станцию и скрылся. Платониде достался кукиш. И в этом была Харламова ошибка. Платонида, злобно вознегодовав, выдала попа. Его искали года два. Нашли в западных областях Белоруссии. На суде бывшие сподвижники готовы были выцарапать друг дружке глаза.

3

Увозить Платониду на пристань после суда довелось Егору. Она лежала в тарантасе притихшая, жалкая и плакала. Не крестилась, не шептала псалмов. Егор молча подергивал вожжами, изредка взглядывая на свою необычную пассажирку. Святая, преподобная... И у этой преподобной не дрогнула рука сыпнуть в рот человеку горсть муки, чтобы задушить его. Ребят осиротила, не моргнула глазом... А и он, Егор, чуть не поддался этой святоше с змеиной душой. Пела-напевала, обхаживала, с богом да со Христом подталкивала в Ефимово болото... Добро, что удержался, не опоганил душу...

Платонида плакать перестала, из-под платка одним глазом наблюдала за Егором. Слегка дотронулась до локтя.

– Егорушко, родной...

Вздохнула скорбно. Опять притихла. Егор не оборачивался.

– Вот какая напасть обрушилась, Егорушко, на грешную твою соседку...

– Сама виновата, – ответил Егор, не меняя позы.

Снова завздыхала Платонида, всхлипывая всё громче и громче.

– Неуж ты такой бессердечный, Егор? Неуж сочувствия в тебе не находится? А ведь я не чужая тебе, всю жизнь рядом избами жили, – сквозь слезы и рыдания говорила она. – Пущай я преступница, пущай лукавый попутал меня, от злобной зависти своей толкнул мою руку. Но вседержитель умеет прощать грехи, только молись с чистой душой...

Телега покатилась под гору, на колдобинах затрясло, стало подбрасывать. Платонида ухватилась за Егоров рукав.

– Соседушка, войди ты в моё сиротское положение... Богом молю, спаси меня...

Егор придержал коня, высвободил рукав из цепких Платонидиных пальцев. Посмотрел на нее суровым взглядом.

– Ты о чём?

– Родной мой, вот в лес заедем, отпусти меня, – зачастила прерывисто Платонида. – Отпусти, будто сбегла... Тебе поверят... А я уж ничего для тебя не пожалею... Будешь сыт и пьян и богу угоден. И Ефиму окажу, чтобы он тебе всю жизнь должен был... Отпусти, Егорушко, сделай святое дело...

Егор уставился на Платониду, будто он впервые её видел, смотрел широко открытыми немигающими глазами. Да человек ли лежит в его телеге на самом деле... Не дьяволица ли это прикрылась монашеским платком? Неужели могут быть на свете люди гаже этого существа с благостным восковым лицом?

Платонида, видимо, приняла молчание Егора за согласие, стала подниматься, поправлять платок.

– Отпустишь, Егорушка?

Егор молча вынул из передка веревку и окрутил пассажирке руки.

– Так-то лучше. А то, чего доброго, сбежишь и взаправду... Тебя, змею, не поймаешь потом...

Платонида не кричала, когда Егор связывал её, не пыталась сопротивляться. Связанная, она лежала спокойно, только глаза горели ненавистью и злобой.

– Ладно же, – прошептала она. – Будет тебе, проклятущему, от меня. На дне моря достану...

– Не пугай, не шибко пугливый...

– Не шибко? Так на же тебе, терзайся...

Она приподнялась, опершись на связанные руки, и крикнула Егору:

– Твоя Паранюшка-та вдоволь с тем сатаной, попом Харлашкой, поуслаждалась... Каждую ночь, каждую ночь без тебя... И при тебе не давала маху... А ты, зеворотый, только глазами моргал да объедки подбирал... Так тебе и надо...

До самой пристани бывшая преподобная выливала все гадости, какие только знала, с подробностями, с грязным смакованием. Егор с трудом удерживался, чтобы не придавить коленом эту мерзкую старуху, полную похабства. Она не утихла и на пристани, пока не заперли её в арестантскую каюту. Вернувшись в Сосновку, Егор поставил коня в колхозную конюшню, домой не зашел. В правлении он оказал, что уходит в Сузём.

Глава одиннадцатая

ЗАТЕЙНАЯ ШТУКА - ЭЛЕКТРОПИЛА

1

В Сузёме Егора встретили с распростертыми объятиями. Иван Иванович почесал карандашам бровь, помурлыкал под нос какую-то модную песенку, совсем не подходящую к случаю, и стал выписывать Егору ордер на жильё.

– Будет тебе сезонить-то, Бережной, – сказал он, с усердием притискивая штемпель. – Записывайся-ко в наши лесные кадры на постоянно. Тут тебе ныне заделья хватит. Электропилу освоишь, их понавезли полон склад. Не шибко только что-то на них лесорубы кидаются. Оно, конечно, механизм, ничего не скажешь. Но кишку эту за собой таскать не каждому по нраву... Лучковка, говорят, вернее.

– Каку-таку кишку? – удивился Егор.

– Кобель ли кабель, шут её разберет... Вроде толстой веревки, только в резине вся. Говорят, по ней сила тока бежит... Где мне знать все эти штуковины! Мой техминимум простой – лучковка, да топор, да сыромятный гуж...

– А кто-нибудь ею работает?

– Электропилой-то? Пашка взял, пробовали ребята. Перегрызает дерева ловко. Только спина устает да руки деревенеют. Подержи-ка в наклонку и на весу экую орясину, чуть не пуд тяжестью, околеешь. Да и капризит хуже городовой дамочки. Чуть не по ней – тырк-пырк и остановилась. Где-то волосок перегорит, в переключателе какого-то контакту не станет – и стоп. Сырости не любит. Одним словом, хороша бы невеста, да нос кривой...

Егор засмеялся.

– Невеста, видать, добра, а сват и того лучше...

– Я не хаю, нет, – спохватился Иван Иванович. – Механизация передавая, ничего не скажешь. Согласно техническому прогрессу внедрять положено. Выписать тебе, что ли?

– Нет уж, подожду пока, присмотрюсь. Лучковкой сподручнее...

– Как хошь, я не неволю...

Егор прямо из конторки мастера направился в делянку Паши Пластинина. Ребята окружили его.

– В постоянный записался? Вот хорошо! Иди в нашу бригаду. Теперь она у нас стахановская. Электропилу осваиваем. Туго пока что даётся, но осилим, ничего. Техучебу начали. Электричество изучаем. Во как!

Егор с широкой улыбкой смотрел на молодежь, и самому ему хотелось быть таким же горячим, хватким, ко всему любопытным. Ишь, им всё нипочем, электричество изучают, скажи на милость... А тебе, Егор, не поздненько будет техучебами-то заниматься? Уж скоро, гляди, седина появится, а ты всё в мальчишечью компанию забираешься. Ну, да нынче время

такое, сила тока, вишь ты, дерева валит...

Ребята показали Егору электропилу в действии. Егор наклонился, опершись ладонями на колени, и так стоял, будто заколдованный, не веря своим глазам. Щелкнет черная штучка – и загудит машинка, побежат-побежат тонкие стальные зубья, вгрызаясь в мягкую древесину. Опилки струей вылетают из реза. Паша, отпилив кряж, победоносно глядит на Егора.

– Ну, как?

– Затейная штука. Только, говорят, норовлива...

– Кто-то уж нажужжал, – с досадой сдернул шапку Паша. – Норовлива... Необъезженная кобыла всегда норовлива, объездится, заходит, как миленькая...

Как всегда бывает, многое на первых порах не ладилось. Пашина бригада первой взяла электропилу, с помощью электромеханика да Мити Бережного, хотя и не без затруднений, разобралась, как ею пользоваться. Пошли в лес, опробовали – ничего. Старые, испытанные лучковки повесили на крюк в пилоставне. Прошла неделя, подбили итог, и оказалось, что с лучкавками заготовляли больше. Среди лесорубов пошли смешки.

– Да, хороша электропила, но что-то выработка мала...

Малоопытный электрик разводил руками и твердил одно:

– Конструктивные недостатки.

У Мити с ним не раз вспыхивали распри. И когда они спорили, щеголяя амперами да киловаттами, контактами и короткими замыканиями, Паша Пластинин чуть не плакал. Казалось, никогда не понять ему этих премудростей. А время шло, и уж одна за другой стали сниматься с крюка старые, испытанные лучковки.

2

И все-таки сама жизнь требовала пустить электропилы в ход. Лесные предприятия год от году стали получать больше и больше тракторов. Конная вывозка древесины сходила на нет. Появились трелёвочные машины, сильные, маневренные, выносливые. В передовых леспромхозах перешли на тракторную подвозку леса от пня до верхнего склада.

Пришли тракторы и в Суаём. Пришли и стали на прикол. Суть в том, что им оказалось нечего делать. Лучковки не успевали валить с корня столько леса, чтобы нагрузить полностью эти могучие машины. Как ни мудрили лесные специалисты с организацией труда на валке леса, какие фокусы ни придумывали, а тракторы всё стояли на голодном пайке. Казалось, нет выхода. Оставалась одна надежда на электрическую пилу. Механизация одного производственного процесса неизбежно требовала механизации другого. Не свалишь дерево с корня – не увезешь его. Содружество трактора с электропилой – вот решение вопроса. А электропила капризничает. Есть от чего чесать затылки специалистам лесной промышленности.

Егор по своей натуре никогда не был скор и тороплив. Так и тут: он долго раздумывал, прикидывал, соображал, прежде чем взяться за электропилу. Но раз взялся, понял, что не отступится. Долгими вечерами, потея от натуги, выслушивал он уроки электротехники и механики, преподаваемые Митей. Сначала ему было стыдновато сидеть среди молокососов и краснеть у доски, не умея толком начертить немудрящую схему. Потом привык. Все не ахти как грамотны, у всех пальцы с трудам держат школьный мел. А строгай учитель спуску не даёт. Сердится, случается и ругается – терпели, в обиду не ставили.

– Бережной, объясни, что такое контакт, – требовательно спрашивает племянник своего родного дядю.

Егор по-ученически встает, переминается, рука привычно тянется к затылку.

– Там у тебя, на загривке, ответа не припасено, – язвит учитель.

Ученик виновато улыбается, отдергивает руку и не знает, куда её девать: то ли сунуть в карман, то ли ухватиться за ремень.

– Контакт – это когда проволоки концами связаны, – отвечает Егор, по-ученически хлопая глазами. – Они голыми концами связаны...

– Ну и что?

– Вот по ним сила тока и бежит...

– Не сила тока, а ток идёт по проводам, – поправляет преподаватель. – И контакт получается тогда, когда...

– Ножикам оскоблишь и скрутишь концы, – спешит закончить ученик, радуясь, что уловил подсказку. А учитель всё недоволен.

– Это так, но главное-то в чём? Главное в том, что соединяются разные полюсы – плюс и минус. Понятно?

Кажется, не очень понятно. Егор думает, наморщив лоб. Потом спрашивает:

– А как, Митя, оно, электричество-то, по проволоке льется, не соображу я. Была бы она пустая, тогда так... Вроде трубы... А она плотная...

Митя хватается за голову и уж, может, десятый раз начинает объяснять природу электричества и его свойства. Впрочем, практическая часть урока идёт лучше. Лесорубы с увлечением разбирают и собирают электропилу, определяют назначение её частей, пускают в ход инструмент, останавливают. В случае, если пила начинает капризничать, наперебой высказывают предложения, как устранить неполадки.

Иной раз на уроки в пилоставню заходит Иван Иванович. Он слушает, глубокомысленно сдвинув брови.

– До чего народ доходит...

Всё-таки у мастера леса нет доверия к этой хитростной игрушке.

– Слабая у вас эта контакта... Выйдет ли чего из неё, не знаю.

Митя указывает мастеру на дверь.

– Уходи-ка, Иван Иванович, лучше, не мешай занятиям.

3

Митя Бережной окончательно прижился в Сузёме. Причиной тому было увлечение электропилой. Впрочем, было кое-что и помимо электропилы...

Судите сами, велико ли удовольствие ездить на велосипеде из района в Сузём раз или два в неделю. Была бы приличная дорога, куда ни шло. А то дорога – наказание божье. На горе – размешанная грязь, засохшая штырями, трясет – не усидишь в седле. В низине болото, кислое, подернутое зеленой ряской, – тащи велосипед на плече. На просеке – добрая тропка, да вытоптались старые сосновые корни, мешают езде: попадёт гладкое место, не успеешь разогнать – валежина преградит путь. Одно горе. А ведь ездил.

Однажды ночной порой насмерть перепугал ямщиков, ехавших с кладью. Они поднимались в гору, а Митя мчался с горы. Опустил тормоз и летел, подобно птице. Хорошо, что сумел рассмотреть в ночной сутеми движущиеся подводы, свернул в сторону. Мимо ошарашенных подводчиков промелькнуло что-то, как им показалась, огромное, легкое и без звука. Ногами не топает, крыльями не хлопает. Кто это? Уж не сам ли леший?

А Валя ждала, волновалась. Звонила из конторы в райком. Дежурный райкома спросил: «Откуда звонят? Из Сузёма? Так Бережной же у вас. Давно уехал на велосипеде». Валя в недоумении держит трубку около уха и слышит под окнам велосипедный звонок. Выбегает на

улицу. Вид Мити и его велосипеда, даже в тусклом свете фонаря, заставляет ахнуть. И тот и другой заляпаны рыжей дорожной грязью.

Нет, неудобное транспортное средство – велосипед. Лучше не ездить столь часто взад и вперед, а обосноваться в самом Сузёме...

После дождика в лесу пахнет грибами и хвойным настоем. Песчаная дорожка ведет в лес. Её не видно, а только слышно – песок шуршит под подошвой. Это та самая дорожка, по которой Валя и Митя, впервые встретясь, дошли до реки. Теперь она совсем иная. Нет, не в том дело, что не серебрится на полянках снег и ели не похожи на красавиц в бальных платьях. А дело в том, что Валя не спешит на профсоюзное собрание и Митя не читает ей вдохновенной лекции о принципах преломления солнечных лучей. У них теперь другие разговоры. Да и помолчать в темном лесу вечерней порой, когда вы вдвоем и вам вместе нет полсотни лет, тоже неплохо. А как хорошо посидеть над крутым обрывом между двух берёзок, на мягкой траве, ещё пахучей после дождя, но уже подсохшей.

4

Когда Макору избрали в рабочком, ей казалось, что это напрасное дело: будет она сидеть на заседаниях да зевать от скуки, а толку от этого никакого не будет. Да и котлопункт не оставишь: на заседание уйдешь – а люди без завтрака живите? Но оказалось, что профсоюзная работа – не только заседания. Макоре поручили охрану труда. Первым делом она начала хлопотать об аптечках. Их не было ни на одном участке. Поранишь палец – нечем и перевязать. Начальник лесопункта пожимал плечами: нет у него аптечек, он лесник, а не аптекарь, некогда ему порошки развешивать. Макора съездила в контору леспромхоза. Там тоже умыли руки. Она дошла до райкома. После немалых трудов аптечки на участках появились. Потом Макора занялась техникой безопасности. Искала в рабочкоме, в конторе лесопункта, в профсоюзной библиотеке правила техники безопасности – не нашла. Написала горькое письмо в обком профсоюза. Через полгода приехал инструктор, правила привез, всем дал нагоняй, строгие указания и уехал.

Всё своё свободное время отдавала Макора новому для неё, хлопотливому делу. В лесосеках, на катищах, на трассах лесовозных дорог было много нарушений техники безопасности. Чтобы следить за соблюдением правил и тем самым предотвращать несчастные случаи, надо было самой знать технику. Да и не только технику. Макора чувствовала, что ей не хватает культуры, что она просто мелко плавает. И чем больше вникала Макора в производственную и общественную жизнь, тем яснее и яснее понимала: надо учиться. А как учиться? Где учиться? Вот Митя обучает электропильщиков, может, и ей начать с этого же? Макора сказала Мите:

– Меня взял бы ты в ученицы, Митя. Может, и пойму...

– Хочешь, так ходи, – не отказал Митя. – Только я думаю, тебе бы поучиться по-настоящему стоило. Знаешь, я спрошу в леспромхозе, не будет ли набора на курсы в область. Ты поехала бы?

– Ой, ещё бы! И поучиться-то добро, город посмотрела бы... Не видала я большого-то города, хоть одним глазком взглянуть...

С той поры мысль о курсах неотступно преследовала Макору. Она и Мите не давала покоя, при каждой встрече напоминала о его обещании. Парень даже рассердился.

– Да ты, Макора, нормальная ли? Что я для тебя сам специальные курсы устрою, что ли! Будет набор, добьюсь, чтобы включили тебя. Наберись немного терпения.

Но вот в феврале пришло сообщение из обкома профсоюза лесных рабочих: Макору за-

числили в состав слушателей трехмесячных курсов.

Глава двенадцатая

БУЙНАЯ ВЕСНА

1

С трудом постигал Егор Бережной премудрость электротехники, но постигал. Сначала ему казалось, что все эти плюсы-минусы, вольты-амперы уразуметь под силу только ученым людям, вроде племянника Мити. После каждого занятия чудилось, будто на плечах не голова, а чугунный котел, огромный и пустой, стукни – и зазвенит. Но проходили дни, крупицы знаний всё откладывались и откладывались. И вот настал момент, когда славно открылись глаза, всё стало ясным. А управлять электрической пилой для Егора оказалось делом несложным. Он быстро приснoровился пилить так, чтобы пильная цепь шла ровно, без зажима. И когда в делянке загудела в Егоровых руках сильная и послушная машина, лесоруб почувствовал, что силы в нем утроились. Новое, неведомое доселе чувство овладело Егором: будто у него выросли крылья и он поднялся над землей.

Бережной попробовал работать в одиночку. Но скоро понял, что это нелепица: машина не терпит простоев и требует полной нагрузки. Самому заниматься очисткой сучьев теперь уже становилось невозможно. Паша Пластинин в своей бригаде ввел четкое разделение труда: звено электропильщиков, звено окарзовщиков, звеню трелёвщиков. Основной механизм – электропила – у него использовался до предела. И производительность труда стала наивысшей в лесопункте. Егор пригляделся и решил перенять Пашин опыт. Вверху сводки на доске показателей вновь появились имена двух бригадиров: Бережного и Пластинина. Причем, они иногда менялись местами. Но Егор всё-таки чаще отставал. Паша, встречаясь с Бережным в конторке мастера, подтрунивал над ним:

– Выходит, Егор Павлович, что племянник дядю обделяет.

– Как это?

– А так: шепнет электрику – и в мою бригаду ПЭС[1] больше току даёт, чем в твою. Вот мы тебя и обгоняем.

Бережной отшучивался, но про себя соображал, как завоевать первенство. Он стал заранее составлять схему лесосеки и производить валку деревьев по строгому плану, чтобы легче было трелевать. И Паша не преминул перехватить это.

Бельмом на глазу казалась Егору окарзовка[2]. Сколько возни она требовала в глубоком снегу, порой в болоте, среди старых валежин! А как от этого зла избавиться? Егор поделился своими думами с Пашей.

– Хомут на шее эта окарзовка.

– Ещё какой!

– То ли дело не в лесосеке бы сучки обрубать, а где-либо на ровном месте.

– На гумне бы! – подзадорил Паша.

– На гумне куда лучше...

С той поры не давала покоя Егору навязчивая мысль: а что если попробовать вывозить из делянки хлысты с необрубленными сучьями и производить окарзовку на верхнем катище.

---

[1] ПЭС – передвижная электрическая станция.

[2] Окарзовка – очистка срубленных деревьев от сучьев.

Лесорубы раскрыли рты, впервые увидев, как трактор тащит за собой пучок лохматых елок.

– Эво как! Целые лесины на катище таскают.

– То ли ещё будет... Того гляди, с корнем начнут выворачивать и трелевать.

На полянке у катища орудовали сучкорубы. Тут же очищенные от сучьев деревья разделывали на сортименты и раскатывали по штабелям.

– Как, други, сподручнее тут? – спрашивал Егор сучкорубов.

– Скажешь! – в голос отвечали те. – Красота, а не окарзовка...

Находились и такие, что разводили руками, хихикали:

– Егорко-то что выдумал: сучья возит из делянки на катище. Мало ли на этакую гору сучьев надо горючего. Машины только зря загружает да ломает...

Митя, услышав о дядиной затее, тоже впал в сомнение. Что ни говори, а ведь и впрямь лишний груз машины таскают. Посчитать бы, проверить бы. Посчитали, проверили. И выяснилась удивительная вещь: сучья никак не влияют ни на расход горючего, ни на производительность машин. Больше того, в отдельные дни расход горючего на кубометр вывезенной древесины (без учета сучьев, конечно), оказался меньше, чем в прошлом, и кубатура не снизилась, а, наоборот, возросла. Сам Егор, удовлетворенно похмыкивая, в то же время скоблил загривок. Леший возьми, откуда что берётся, ума не приложишь. Сучьев-то вон гора, пережечь не могут, везли же их, а выходит вроде и не возили. Чудеса! Где секрет? Егор ломал голову. Долго бы ломал, если бы случайно не обратил внимание, как пучок лесин, везомых трактором, легко скользит по неровной лесосечной почве благодаря сучьям. Ни пни, ни валежины не цепляются за стволы деревьев, не затирают их. Вот и облегченье тракторам, вот и разгадка. Душа у Егора успокоилась. Теперь он стал думать о том, как бы упорядочить работу окарзовщиков на площадке. Пожалуй, есть толк перед площадкой помост устроить. С возвышенья-то удобнее лес раскатывать по штабелям, да и сучья относить сподручнее будет...

2

После того, что услышал Егор от Платониды о своей жене, ему противно было встречаться с ней. Он жил в Сузёме безвыездно, в Сосновку не заглядывал, и Параня не пыталась проведать мужа. Вместо Харлама она нашла другого любителя чинить сенные вилы. Но Егор этого не знал, и его донимали угрызения совести: а вдруг Платонида со зла наклепала?

В субботний день Егор укатил под вечер домой. Параня была в бане. Пришла распаренная, помолодевшая. Увидев мужа, ссутулилась, проскользнула в кут. Егор ждал, что жена приоденется и выйдет. Она не спешила. Он сидел на лавке у окна, на привычном «хозяйском» месте, поглаживая ладонью угол стола. Лучше бы не приезжать. Своя изба казалась мужику неприютной, холодной, пустой. Жена не подавала признаков жизни, будто замерла там, за печкой.

– Параня, ты бы вышла хоть, – не выдержал Егор.

– Ну и выйду, – откликнулась та, и голос её резанул не ухо, а сердце Егора. – Ты ужинать небось будешь?

– Небось буду...

Она собирала на стол, не глядя на мужа. Ходила, виляя бедрами, старалась выставить напоказ в разрез подола блистающую икру стройной ноги. Но делала это будто нечаянно, будто она в избе одна и никого у стола на хозяйском месте нет. Это нелепое кокетство выводило Егора из себя. Твердые Егоровы пальцы дробно барабанили по столу.

– Рассказывай, жена, как ты без меня жила и живешь...

– Как живет жена, когда муж от неё уехал! Сладко ли? – ответила Параня, тряхнув сережками.

Тот приподнялся на лавке, оперся кулаками о столешницу.

– А может, сладко? Говори-ка, верная супруга, правду... Не юля... Не скроешься...

Параня побледнела, замерла столбом под тяжелым взглядом мужа. Он ждал, желваки ходили под щеками.

– Что ты, Егорушко! С чего это?..

– Не с чего... По Харламке-то соскучилась ли?

– Всё врут, всё врут... Ты не верь, всё врут...

– Допустим, врут... А не расскажешь ли, как сенные вилы чинили? Не объяснишь ли, зачем чуланные двери хламом заваливала? Не напомнишь ли, почему твоя чулочная подвязка оказалась в Харламковой дароносице?

Что сделалось с Параней? Она сжалась в комок, кинулась к ногам Егора и потянулась к посыпанному опилками валенку, пытаясь поцеловать его.

– Прости! Прости меня, Егорушко... Бес попутал... Признаюсь... Не казни меня, окаянную, пожалей...

Егор отнял валенок, оказал почти спокойно:

– Казни испужалась. Блудлива, а труслива. Вставай-кось да перестань играть в дрожжанку...

Параня, недоверчиво косясь, встала, горстью захватила разметавшиеся волосы, начала их скалывать шпильками.

– Была ошибка, была... Больше не повторится, Егорушко, – продолжала причитать Параня, всхлипывая. – Верна тебе буду по гроб, ей-богу, вот хоть сейчас провалиться на месте...

– Ну ладно, не провалишься, чего там... А в твою верность нынче мне верить все равно, что в Платонидину святость... Одного поля вы ягодки...

Чувствуя, что острота момента миновала, Параня стала усиленно хлопотать по хозяйству, застучала горшками да кастрюлями, угодливая, готовая повиноваться мужнему взгляду, носила ему на стол блюда, подкладывала ватрушки, притащила целый туесок сметаны. Угощать не смела, делала всё молча. И Егор молчал. Он словно забыл о существовании жены, не глядел на неё. А Параня, уйдя в кут за занавеску, беспокойно смотрела в обледенелое окно, прислушивалась к шорохам. Чем дольше тянулся вечер, тем напряженнее чувствовала себя Параня. Она ждала сегодня совсем не мужа. И вот теперь не знала, как быть. Не скор на поворотах Егор, не легко его вывести из себя, но после всего происшедшего сегодня и от него можно ждать всякого... Ей хотелось выйти из избы, предупредить. жданного гостя, выпутаться из беды. Но выйти она не смела.

– Ты, Егор Павлович, устал с дороги-то. Может, спать хочешь?

Егор не ответил. Расстелил на лайке под полатями свой полушубок, положил валенки в изголовье, прикрыв их рушником. Параня ликовала. Она взяла лампу, унесла в кут, привернула фитиль. Егор уже стал засыпать, как за окном послышался шорох, и в раму постучали. Параня накинула ватник, схватила ведро с помоями и побежала из избы.

– Ты куда? – поднял голову муж.

– Унесу пойло теленку, – ответила она, что пришло на ум.

– Теленок по ночам ужинает? Ну-кось, подожди, сядь на лавку...

Параня, бледная, присела у двери. Стук в окно повторился настойчивее, требовательнее.

– Это кто?

Параня молчит.

– Кто, спрашиваю!

За окном скрипит снег под чьими-то ногами, за леденистым стеклом смутно темнеет голова в ушанке.

Егор выхватил у Парани ведро и со всего размаха пустил его в окно. Параня выскочила за дверь и ни жива ни мертва притаилась в хлеве под яслями. Муж её не искал. Когда она решилась вытянуть из хлева, увидела дверь из избы полой. Изба была пуста.

3

Трудно было Егору, но он переживал боль в себе. И успокоение находил только в сутолоке будничных дел. То электропильщики предлагают изменить способ валки деревьев, ввести новую систему, которую назвали «валкой в елочку». То трелевщики настаивают на предварительной расчистке волоков, уверяя, что это скажется на увеличении производительности труда. То окарзовщики в один голос требуют: пора прекратить сжигание сучьев. Столько добра в дым уходит. В других местах, говорят, эфир да спирт из сучков гонят – такие установки прямо в лесу устроены, а то в брикеты сучья прессуют, на топливо с успехам используют. Почему мы сучьями небо коптим? Мозгуй, бригадир, поворачивайся. И так рад был Егор этому водовороту больших и малых дел, этому неотвратимому напору жизни! А люди, когда узнали, что стряслось у Егора дома, все без исключения будто сговорились, старались ни словам, ни взглядом не бередить душу бригадира. Только душевнее, мягче, внимательнее стал каждый.

Егор это чувствовал, понимал и, как умел, отвечал людям тем же. Так черное горе человека вытеснила, отдалила, развеяла большая человеческая дружба.

К весне бригада Егора Бережного по производственным показателям оказалась одной из лучших в леспромхозе. Паша Пластинин, главный соревнователь Егора, написал о нем в областную газету.

Между тем подоспела горячая для лесорубов пора – весенний молевой сплав леса. Весна в этом году выдалась дружная, снега таяли неудержимо, и речка Болтушка вздулась, вышла из берегов, заиграла буйной пенистой волной, будто и впрямь стоящая река. Она мчалась, всё сметая с пути: и старые мосты, и остожья, и охотничьи шалаши, а кое-где и случайные постройки, захваченные водопольем.

Егорова бригада с баграми вышла на крутой берег к лесному складу, готовая по первому знаку начать сброску сверкающих желтизной брёвен в бурливую воду Болтушки. Принимай, красавица, богатство лесного края, неси на быстрых волнах смолистое золото к надежной устьевой запани! Все жители Сузёма, оживленные, весёлые, словно заряженные силой и удалью, высыпали на берег. На штабелях закипела работа. Срок молевого сплава короток. Болтушка побушует день-два и притихнет, начнет опадать и быстро обмелеет. За эти малые дни полноводья надо успеть скинуть в воду весь заготовленный за зиму лес и проплавить его на всём протяжении речушки. Только успевай поворачиваться! Промедлишь час, запоздаешь на день, а потом намаешься, наканителишься, передавая бревна с багра на багор по мелководью. Вот почему в дни половодья берут багры все, кто их может держать, начиная с начальника лесопункта и кончая молоденькой учительницей. Только фельдшерицу не пускают к штабелям, она дежурит на медпункте. Мало ли что может стрястись в такой горячке.

Егоровой бригаде достался крайний штабель на бугре, подмываемом стремительным течением. Весело полетели с высоты в воду брёвна, поднимая снопы брызг, кувыркаясь и ныряя в бушующей стремнине. Егор стоял у конца штабеля, работал споро и весело, покрикивал, поухивал, опуская бревно за бревном. Кепка оползла на затылок, волосы разлохмати-

лись. Ворот расстегнут, под потной рубахой играет мускулами разгоряченное тело.

На соседнем штабеле Митя Бережной. Увидев Егора, он кричит:

– Посоревнуемся, дядюшка! Кто кого...

– Держись! Не упади со штабеля, племянничек...

К полудню спустили на воду почти четверть всего запаса леса. На обед Егорова бригада пристроилась за ветерком у подножья штабеля. Девчата из столовой притащили в вёдрах дымящийся суп. Заработали мощные челюсти, заходили по мискам ложки. Аппетит на воздухе волчий. А на штабеле работа не унимается. Обедающую бригаду заменяют сменщики.

Вдруг над речным раздольем разносится отчаянный крик. Егор поднимает глаза и видит, как от берега медленно отваливает барка с продовольствием и промтоварами. По прибрежной рыжей траве, как змея, вьется конец лопнувшего троса. Разнесёт барку в щепки на каменистых порогах. Раздумывать некогда, звать на помощь бесполезно. Егор пружинисто вскакивает и, кинувшись к берегу, успевает захватить конец троса. С напряжением всех сил упираясь ногами в землю, он наматывает канат на первый попавшийся пень. Трос натягивается до звона, вгрызается в смолистую древесину. Егор не выпускает конец, чувствуя, что ладони начинают гореть, ноги глубоко уходят в вязкую глину, а в глазах темнеет.

На палубе барки кружится Васька Белый – в холщовых штанах и такой же рубахе, с льняными волосами, развевающимися на ветру. Он неистово кричит:

– Держи ты, держи, Егорко, какого лешета! Утопим ведь барку-то, разобьет на бурунах, как миленькую... Вот тебе и чай с сахаром... И меня погубишь, Ваську Белого, где такого другого возьмешь. Мужики, помогите ему...

С большим трудом барку задержали. Опасность миновала. Егор в изнеможении опустился на землю. Лицо сделалось серым, дышалось тяжело. Прибежала фельдшерица. Принесла носилки. Егор отказался лечь на них. Поднялся. Пошатываясь, зашагал к посёлку.

Глава тринадцатая
ВСТРЕЧИ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ

1

Пароход пришел в Архангельск рано утром. Макора стояла на палубе и с волнением рассматривала незнакомый город, такой необычный и своеобразный. На середине реки покачивались, будто в глубокой дреме, тяжелые морские пароходы. Они показались Макоре огромными. Несмотря на рань, вокруг сновали портовые буксиришки, юркие катера, стучали выхлопами моторные лодки. Да сколько их тут! И как не столкнутся друг с другом, как не запутаются?

Гудок парохода прокатился над рекой, отдался эхом сначала на правом берегу, потом на левом. Город тянулся по берегу, и не было ему, казалось, ни начала, ни конца.

Пароход сделал широкий разворот и пристал к деревянной, измочаленной бортами судов стенке. Пассажиры хлынули к выходу. Там, за калиткой, вдоль перил, стояли встречающие.

Макару никто не встречал. Она дошла по дощатому настилу до вокзала и остановилась в нерешительности. Куда идти? Где-то на Поморской улице живет земляк, сосед, у него бы можно остановиться на первых порах. Но как найти эту Поморскую? Она, видимо, у моря, где-нибудь далеко. Мимо вокзала нет-нет да и пробегали с резким трезвоном трамваи. Макора видела их впервые. Пассажиры все вышли, площадка около вокзала опустела. А Макора всё стояла, чувствуя, что начинает уже зябнуть.

Подошла женщина с медной бляхой на груди и с метлой в руке.

– Девушка, ты что тут на ветру дрожишь?

– Не знаю, куда пойти.

– Иди хоть в вокзал там потеплее.

– Мне бы остановиться где...

– Ступай в дом крестьянина – вон, напротив.

В доме крестьянина свободных мест не нашлось. Макора стала искать Поморскую улицу. Она оказалась близко. Но и тут постигла неудача: земляк с семьей уехал в отпуск, и квартира была закрыта на замок. Куда податься? Макора связала веревкой котомку и корзинку, перекинула через плечо и двинулась вдоль по улице Павлина Виноградова. Поклажа была нелегкой, пришлась много раз перекладывать с плеча на плечо. Веревка сильно резала. До Дома Советов Макора добралась с трудом. В вестибюле с облегчением сбросила багаж. Спросила милиционера, где обком комсомола. Оказалось, что ещё рано и никого из работников обкома нет.

Сидя на багаже, Макора задремала и проснулась лишь тогда, когда милиционер потряс её рукав.

Нерешительно, смущаясь, заходила Макора в комнату, думая: «Есть им время возиться со мной, на квартиру устраивать. Много нас таких тут, поди, ездит». Но оказалось же очень просто: обкомовская девушка куда-то позвонила и сказала, что надо ехать в общежитие лесотехникума – там устроят на ночлег. Выйдя в коридор, Макора взглянула на табличку, прибитую к двери: «Приёмная секретаря обкома».

«Неужели эта девчушка – секретарь обкома, такая молоденькая, совсем ребёнок?» – подумала Макора.

В техникуме сказали, что курсы будут проходить в лесотехническом институте. У Макоры захолонуло на сердце: думала ли она в своем Сузёме, что попадет в институт.

Новая курсантка приоделась, старательно взбила кудряшки на лбу, украдкой взглянула в зеркальце. К институту подходила с бьющимся сердцем. Большое белое здание показалось необычно торжественным: вход выдался полукругам, двери высокие, тяжелые. Подъезд весь обсажен кустами. Они чудно подстрижены, словно по нитке. За чугунной решеткой, среди зелени, памятник. Макора подошла поближе, прочитала на цоколе: Ломоносов. Подивилась на крылатого гения, подающего Ломоносову лиру. Странной ей показалась фигура великого ученого, закутанного в тогу. Но она подумала: «Наверно, так величественнее».

Занятия начались с опозданием: не все курсанты приехали вовремя. В большой светлой аудитории было пустовато. Макора слушала лектора и думала: «Наверно, это профессор, может, знаменитый. И вот он учит меня, приехавшую из Сузёма. Как мне понять и не забыть те премудрости, которые он объясняет?» Но увы, не всё она понимала и приходила в ужас от того, что почти ничего не запоминалось.

«Голова-то, видно, у меня, как решето, насквозь всё проходит. Вот проболтаюсь тут без толку, ничего не запомню. Как потом домой вернусь? Скажут: профессора тебя учили. Чего узнала, выкладывай. А мне и выкладывать нечего. Срам-то какой!»

В перерыв она послушала, о чём говорят другие, и стало легче на душе. Не она одна такая бестолковая.

Вторая лекция показалась более доходчивой. Профессор (теперь уже другой) говорил не очень гладко, а понималось лучше, потому что говорил он о знакомом – о лесе. Макора видела: многие что-то записывают. Она тоже пыталась записывать, но ничего не получилось: пока одно пишешь, другое пропустишь, и концы с концами не связываются. Закрыла блокнот. Уж какая ни есть память, а всё лучше, нежели возиться с карандашом.

На третьей лекции стало тянуть в дрёму, голова отяжелела, занемели ноги и руки, начало уставать всё тело. Хоть бы высидеть до конца! Никогда не думала, что сидя на стуле, можно устать, а выходит, как ещё можно. Так не устанешь не только в кухне у плиты, но и в делянке с топором и пилой. Но когда вышла после занятий на свежий воздух, всё прошло. И в душе появилось новое ощущение, какого раньше не бывало: «Я иду из института, узнала много важного, чего не знала до этого, и ещё буду узнавать и узнавать».

Теплый вечер разливался над городом. Река и небо светились мягким сиреневым светом. И трамваи не столь сильно грохотали, как вчера.

Макора уже знала, где садиться на трамвай и где выходить, чтобы попасть в общежитие. Город стал не таким чужим, как показался при первом знакомстве. Доехала на трамвае до почты: надо написать домой, а то мать будет беспокоиться. Опустила письмо в ящик, направилась к выходу – и столкнулась с Бережным. Глазам не поверила. Да и он уставился, даже вход загородил, люди недовольно заворчали.

По набережной вышли на бульвар, сели на скамейку. Сообщили друг другу, как оказались в Архангельске. Егор приехал на совещание передовых лесозаготовителей. Живёт в гостинице на Поморской. Совещание откроется завтра, в театре.

– Видела? От морского вокзала наискосок – большущее такое здание. Вот там. А ты как здесь очутилась?

– Учусь, Егор Павлович. В институте, в лесном. Там всё профессора, профессора... Страсть мудрёные лекции говорят, не знаю, пойму ли всё...

Егор потрогал усы, глянул на Макору искоса.

– М-да, девка, далеко пошла. В институте! Профессора...

Макора приосанилась, сказала с важным видом:

– Лекции такие научные, ужас. Профессора ученые, с лысинами, от ума, наверно...

И не выдержала, засмеялась.

– Чудной ты, Егор Павлович. На курсах ведь я. По лесному делу.

– Всё равно добро, – сказал Егор.

Они сидели долго. Уж машины перестали гудеть на улицах, и бульвар обезлюдел. Макора, нечаянно глянув на часы, воскликнула:

– Время-то! Скоро утро... Тут и не поймешь, когда ночь... Ты уж проводи меня, Егор Павлович, до общежития.

Егор расправил усы, заулыбался.

– Ровно кавалер барышню провожать... Как в городе...

– Так в городе и есть. Ты что же, думаешь, все в Сузёме находишься?

– Не привычен я по-городскому обходиться. Да придётся, видно... И под ручку полагается али нет?

– Полагается...

Тих и необычен в летнюю ночь Архангельск. Улицы пусты. Редко-редко прогромыхает трамвай. На мостовой женщина в фартуке пылит метлой. А светло, что днём. Заря так и не уходит с неба всю ночь. Крыши домов на той стороне реки в свете зари кажутся аловатыми. Глянешь в сторону Соломбалы – там ажурные краны судоремонтного завода медленно двигаются по малиновому пологу зари. А вокруг них собираются кучи облаков. Они на глазах меняют цвет – розовые, сиреневые, палевые. Говорят, архангельские старожилы по этим облакам предсказывают погоду. Егору и Макоре та премудрость незнакома, потому они не обращают внимания на облака. Им ещё надо найти улицу, где стоит общежитие техникума. А как её найти, если и спросить не у кого. Дворничиха с метлой объяснила так, морячок пока-

зал в другую сторону. Ходили-ходили, никакого общежития не нашли.

Так их и утро застало.

– Пойдем к трамваю. Мне скоро на лекцию, да и тебе в театр, – сказала Макора.

До театра оказалось рукой подать. Макора поехала дальше. Прощаясь, она сказала:

– Заскучаешь, так приходи. В кино сходим...

Егор, соскочив с подножки, помахал ей рукой.

2

Совещание лесорубов длилось несколько дней. Макора всё время поджидала Егора. Он не появлялся. Макора волновалась, стараясь в то же время убедить себя, что ей безразлично, придёт он или не придёт. И на лекциях, и в перерывы, и по дороге в общежитие она ловила себя на мысли, которая словами выражалась примерно так: «Ну и пусть не приходит». Однажды утром в институтском вестибюле она подошла к газетной витрине. Из-под стекла на нее глянуло знакомое лицо. Портрет Егора а газете получился сероватым, но Макора узнала его сразу. Он стоял на трибуне, правая рука застыла в жесте, рот приоткрыт – произносит речь. Крупными буквами сверху было написано: «Речь лесоруба Егора Павловича Бережного». Макора не обратила внимания на звонок к занятиям, читала речь:

«В докладе про меня говорили очень уж здорово. Я даже не поверил, что про меня. Наша бригада стала первой на лесопункте Сузём. Верх взяла. Паша Пластинин немного отстал. Кубометрами он недотянул. И докладчик сказал, будто знамя Красное мне полагается, нашей бригаде то есть... Я, конечно, благодарю и от себя и от всех лесорубов своей бригады. Только, если уж по-правильному, так выдайте знамя Пашиной бригаде. Она заслужила. Она у нас первая по чуренковскому способу работать стала. Она первая пилу электрическую обуздала, мы уж потом. Мы у неё учились.

Может быть, я не о том говорю. Выступать я не мастер, на такое собрание первый раз в жизни попал. Слышал я, как тут хорошие ораторы выступали. Проценты приводили... Мне так не суметь. Вы подправьте меня, товарищ председатель, если не туда загну. (Смех, голоса: «Туда, туда! Загибай дальше!») Мне с Пашей не равняться. Вон он сидит, на том ряду... Видите? Не ему за мной, а мне за ним пришлось тянуться. Спасибо ему, подтолкнул, дорогу показал. Да и все помогали... Я трудом на правильную дорогу вышел. И вот докуда добрался, на эдакой высоте стою и говорю... Хоть бы перед вами не запутаться, а то подумают: «Ишь, лешак из Сузёма вылез и лыка связать не может». Да уж ладно ли, нет ли, а бухну. Кубометров-то я, возможно, наломаю больше каждого из вас. Батька меня корпусом не обидел. Нормы казенной не признаю, она мне на разминку. Спросите вон Пашу, он не даст соврать: когда я в одиночку работал, по две, а то и больше давал. Мужик, сами знаете, от работы не прячется. Да не в этом дело, хоть я уж и думал, что за самую сердцевину жизни ухватился! На-ко! Егор Бережной на почетной доске, Егора Бережного в президиум усаживают, как важного представителя, рядом с уполномоченным из района. Шутка ли! Эко, думаю, достукался!

А теперь понимаю: хоть и садили тогда в президиум, да в нутре-то у меня ещё было пусто. Не там я искал сердцевину-то... Но люди помогли её всё-таки найти. А уж нашел да ухватился за неё, ныне меня с пути не сковырнёшь! Держаться буду обеими руками. От колхоза, бывало, бежал по дурости. В лесу дальнюю делянку выбирал, от людей прятался. Сам да один – себе господин. Так думал. И свету был не рад. Не таю, чуть в кулацкой компании не погряз. Спасибо добрым людям, выручили, по башке легонько стукнули вовремя. Когда по-

нял я это, будто из дымного кушника[1] на волю вышел. Глазам от яркого свету больно, они слезятся, а дышать легко... Недаром говорится: живи для людей, поживут и люди для тебя...»

Макора читала, не в силах оторваться от этой вовсе не гладкой, будто взъерошенной Егоровой речи. И так ей захотелось с ним теперь встретиться, что она махнула рукой на занятия, поехала в театр искать Егора. Попала как раз в перерыв. Народу полно. Как найти? Увидела у книжного киоска Пашу Пластинина, кинулась к нему со всех ног. Паша разыскал Егора.

– Ты что же? Обещал прийти и не пришёл, обманщик, – набросилась на него Макора.

Егор прятал улыбку под усами.

– Так, Макора Тихоновна, занят же был. На трибуне мы нынче выступаем, не лаптем щи хлебаем.

Паша Пластинин сделал вид, что его очень заинтересовала диаграмма вывозки леса, висящая на стене.

Среди тысячи людей, передвигающихся в ту и другую сторону по широкому залу, в необычном гуле голосов они стояли – Егор и Макора – вдвоем, одни-одинёшеньки и смотрели друг на друга.

3

В субботу Макора проводила Егора, долго махала ему с пристани кашемировым своим полушалком. Пароход скрылся за судами, стоящими на рейде. Макора с толпой провожающих вышла на городскую улицу. Давно ли эта улица казалась ей чужой, неприютной и страшноватой. Ныне она приняла Макору в свой водоворот дружелюбно и весело. Хорошее настроение не покидало весь день. Немножко и грустновато, что рассталась с Егором, но рассталась-то ведь ненадолго. Закончатся курсы, снова она приедет в родной Сузём, и чует сердце, что изменится, пойдёт по-новому жизнь...

А утром Макору разбудил тревожный говор соседок по общежитию. Ещё не одетые, с растерянными лицами, они стояли у репродуктора.

– Неужели, девоньки, настоящая война?

– Слышь, города наши бомбят, чего же ещё!

– Да помолчите вы, дайте слушать...

Макора вместе со всеми приникла к репродуктору. Он хрипел и трещал, не всё было можно разобрать. Но одно она поняла: случилось что-то страшное и непоправимое. Еле ополоснув лица, без завтрака и чаю все поехали в институт. Трамваи названивали резко и тревожно, ветер гнал по улицам обрывки каких-то бумаг, вихрил пыль. Хотя светило июньское солнце, но было холодно. То же, наверно, было и вчера. Но вчера ничего этого Макора не замечала. Нынче каждая мелочь как-то по-особому кидалась в глаза. Исчезли улыбки с лиц. Случайный смех в толпе казался нелепым, кощунственным. Люди недоуменно и осуждающе смотрели на весельчака. Что он, не знает, не слыхал?

В городе началась мобилизация. Мужчины-курсанты все ушли на мобилизационные пункты. Женщинам сказали, что курсы будут продолжаться. В понедельник очередное занятие состоялось, хотя число курсантов значительно уменьшилось. В институтском вестибюле появилась карта с флажками. Все перерывы у неё стояла толпа.

Нет, тогда ещё Макора не могла и представить, какие испытания обрушились на страну. Она думала, что как-нибудь всё утрясется, война кончится быстро. Ведь бывали же и до этого конфликты. А вскоре пришло письмо от Егора со штемпелем: действующая армия, поле-

[1] Кушник – лесная избушка.

вая почта...